

ИЛЬЯ ОКАЗОВ

ДВОЙНИКИ

Псевдоисторические рассказы

1992

«Как-то в воскресенье Амид-ака заметил в голубом мареве Самарканда двух чужестранцев. Они появились в конце улицы и наверняка разыскивали его лавку, знаменитую своими арбузами, так хорошо утолявшими жажду. И впрямь, оба путника вскоре направились в сторону навеса, в тени которого он установил несколько деревянных столиков. Оба вымыли руки под умывальником, повешенным снаружи. Тогда Амид-ака пошёл в лавку, чтобы отобрать пару арбузов. Вернувшись под навес, он застал там только одного незнакомца. Положив перед ним оба арбуза, он спросил, почему его друг ушёл. Человек растерянно на него посмотрел; затем вытер потный лоб, встал из-за стола и направился к выходу. Но прежде сказал устало:

– С некоторых пор все видят меня вместе с другим.
И удалился, тяжело ступая по пыльной улице.»

Т. Гуэрра, «Пылевая буря»

Содержание

КАМЕННЫЕ ВЕКИ

Откровение Гильгамеша	4
Дружба	8
Аntenop	12
Победительница	23
Незаконнорожденный.....	29
Смерть старого плотника	36
Что есть Истина?.....	41
Елена	62
Возвращённая Стрела	67
Да здравствует Макбет!	71
Ветераны.....	78
Разговоры без собеседников	83
Поводырь	91
Сокровенный царь.....	99
Наследник	106

ПИСЬМА ПОСТОРОННИХ

Письмо к матери.....	111
Двойной долг.....	114
Цинна-поэт	118
Чёрное и белое	121
Копыта крылатого коня.....	126
Проклятие Пантагенетов	130
Премудрая дева Феврония.....	134
Миротворец	138
Каменный гость, окаменевший хозяин	145
Произведение искусства	152
Неотправленное письмо.....	156

КАМЕННЫЕ ВЕКИ

...И, опуская каменные веки,
Гудит Он медным голосом Сивиллы:
«Всё в прошлом. Мёртвые – мертвы навеки».

М. Эминеску в переводе Т.Л.

...Говоря о чём-либо «оно умерло, не забывайте,
что тем самым вы произносите первые слова за-
клятья, вызывающего мертвецов их могилы.

Один мой знакомый философ

ОТКРОВЕНИЕ ГИЛЬГАМЕША

Гильгамеш – на две трети бог, на треть человек он – шагнул по горячей от солнца дороге с края света, где обитал бессмертный Ут-Напиштим, к родному своему городу Уруку. Его мускулистые ноги вздымали качающееся в такт шагам облачко пыли, а в руке был зажат алый Цветок Бессмертия, полученный за океаном, на краю земли. Цветок этот и был ой целью, ради которой Гильгамеш предпринял всё это опасное путешествие; впрочем, он не боялся опасностей, даже когда, сидя над остывшим телом своего друга и соперника, верного Энкиду, постиг, что и сам он смертен, что человеческое в нём требует своего и божественные две трети не спасут от кончины – не сейчас, так потом. Переплыв в Солнечной ладье океан, повстречавшись с грозным и загадочным человеко-скорпионом, потолковав с гостеприимной Сидурри и мудрым Ут-Напиштимом, он достиг желанного и шёл теперь, гордо и радостно поднося голову и уже чувствуя себя бессмертным, а Цветок, невзирая на палящее солнце, сиял и благоухал в его огромной, со вздутыми венами, мохнатой руке, как прежде в Блаженной стране.

Но то ли солнце было слишком горячим, то ли Гильгамеш утомился после путешествия, во время которого он проходил за день двадцатидневный путь, то ли он, уверясь в грядущем бессмертии, впервые позволил себе расслабиться и даже почувствовать себя нехорошо, – так или иначе, перед его взором стояла красная пелена, и за нею смутными тенями виделась ему будущая его Вечная Жизнь. И хотя Гильгамеш понимал, что ещё успеет насмотреться за тысячелетия, но всё же невольно начал вглядываться в эти картины. Они становились всё отчётливей, и, наконец, в одной из фигур Гильгамеш узнал себя.

Он сидел, могучий и квадратнобородый, в львиной шкуре и с бычьим рогом в руках, на камне, посреди города Урука, а рядом хоронили его мать Нинсут – ту, что дала ему человеческую треть жизни, нашла ему потом достойного советника и друга, дабы обуздать разгул молодой силы и удали сына, дала столько добрых советов – и казалась ему такой же вечной, как сам Урук. О её смерти он как-то не думал никогда, хотя и понимал после смерти Энкиду, что эта доля не минует никого (кроме владельца Цветка Бессмертия). Теперь его двойник в красном мареве пытался приподняться со своего камня и в последний раз припасть к телу матери – но у него не хватило на это сил, а может быть, духу.

Затем он увидел огни и услышал лязг грядущих сражений – вначале он принимал в них участие, потом отошёл и решил предоставить войнам идти своим чередом – он слишком стар, да и не соразмерны были эти битвы с уничтожением им Хумбабы Кедрового и Небесного быка. И он увидел, как на его родную шумерскую землю потоком хлынули длинноносые аккадцы, как пал Урук, а он не смог – или поленился – его защитить, как в новой столице всего Двуречья Вавилоне царь Хаммурапи провозглашает полученные им от Солнца-Шамаша законы, по которым любой подвиг Гильгамеша оказался бы преступлением – и Шамаш, Энлиль и даже Инанна, которую теперь звали Иштар, благосклонно кивали, слушая эти трусливые законы, запрещающие богатырство всем, кроме жалкого щуплого царя.

– Боги! – хотел вскричать Гильгамеш. – Неужели вы допустите это?

– Допустим, допустим, – зашелестели в ответ ему боги совсем не божественными голосами, – мы не хотим новых богатырей, а то они возомнят себя богами и впрямь займут наше место. Ты-то стар, ты не сделаешь этого, к чему бунтовать, сиди и смотри на свою страну...

А потом Гильгамеш увидел, как ниневийский царь Ашшурбанипал, прославляя его и приказывая записывать на глиняные таблички всё, что касается подвигов Гильгамеша Великого, сам считает себя преемником и подобием давно забытого героя и по мере сил повторяет его подвиги – стреляет во львов, которых выгоняют из клеток прямо под царские стрелы и копья телохранителей и егерей, и накидывает на плечи их шкуры. Гильгамеш вспомнил, как он сам разорвал льва пополам, но и вспомнил уже как-то смутно – перед глазами стояли каменные рельефы, на которых были увековечены не него, настоящие подвиги, а трусливое подражание им – подвиги Ашшурбанипала.

А затем он увидел, как человек с отрезанными ушами и носом, в плаще полководца, сжигает Вавилон, преемник Урука, и срывает его стены. Пламя летает над городом, словно огромная птица, и Гильгамеш хочет помочь своим сомнительным потомкам, но не в силах справиться с огнём.

– Боги! – взывает он. – Эа, Эллиль, Мардук, спасите же свой город!

Но Мардук, хранитель Вавилона, отвечает ему грустно:

– Я хранил его века и тысячелетия, но персидский огненный бог сильнее меня. Персия теперь будет властвовать над миром, и мы, старые боги этих мест, подчинимся Ормузду и признаем – на словах – себя несуществующими.

И Гильгамеш впервые испугался, ибо такого не бывало никогда, а уж если боги решились на подобное, то что же остаётся ему, богу всего на две трети?

Сидя на своём камне, он продолжал смотреть на странные картины, предстающие перед ним (и в то же время шагал по жаркой дороге с края света в Урук, сжимая Цветок Бессмертия); он увидел, как персидский бог сжался, потух, рассыпался горячим пеплом перед новым царём, пришедшим с Запада, разгромившим персов и снова возвеличившим Вавилон. Этот царь объявил себя богом, но Гильгамеш отлично видел, что в нём нет и тех двух третей божественного начала, какими обладал он сам. И когда этот гордец умер от лихорадки или же яда, Гильгамеш не пожалел его, как не жалел и тех полководцев, которые начали соперничать после смерти своего вождя и проливать кровь друг друга меж Тигром и Евфратом, так что и тех снова поднялась до прежнего уровня иссякающая вода.

И ещё века прошли, а Гильгамеш всё сидел на камне, не имея ни сил, ни воли встать и поднять свою палицу, – и вот он увидел всадника на верблюде, с головою, обмотанной длинным куском зелёной ткани. Он привёл огромную рать с юга, из пустыни, и сокрушил и западных богов, принесённых самозванцем, и возродившегося персидского огненного Ормузда, и провозгласил: «Бог един, невидим и неосязаем, и нет бога кроме Бога, и Я пророк его!» В этом человеке тоже было не меньше двух третей божественного, но слова его были ужасны, и Гильгамеш снова воззвал к небу:

– Мардук, Ану, Астарта (так теперь звали Инанну), где вы?

Но боги не явились ему, и лишь слабый женский голос – знакомый ему издавна голос Инанны – прошептал:

– Мы умерли, Гильгамеш, нас больше нет, мы исчезли, уступив своё место Аллаху.

И тогда Гильгамеш встал со своего камня и, сделав несколько шагов, рухнул навзничь, не в силах устоять на ногах; он был жив, но жизнь его уже тысячи лет была пустой и бесплодной.

И он правда упал на горячий песок у самого берега какой-то реки – может быть, это был уже Тигр. Больше всего ему хотелось выкупаться и сбросить тяжесть этого странного видения, но он опасался оставить Цветок Бессмертия на берегу.

«Но ведь кругом никого нет, – сказал он себе, – никто не покусится на мой Цветок, даже Инанна, хотя и ненавидит меня за то, что я отверг некогда её любовь и убил её Небесного Быка. Мне нечего бояться, никто не знает, сколь чудесен этот Цветок, да и кто решится взять его, если даже меня – меня, Гильгамеша Неустрашимого – он пугает... нет, не пугает, но всё равно же его никто не похитит...»

И, сняв свои пятицветные одежды и прикрыв ими Цветок, он бросился в холодную воду. Волны перекатывались через его богатырские плечи, и он глотал зелёную влагу и слушал ропот и

глухие удары валов. Вокруг было безветренно, но валы ходили и гудели всё громче:

– Гильгамеш, Гильгамеш, ты бросаешь нас!

И он узнал голос матери, и голос Энкиду, и голоса тех, кто ещё не родился на свет, а только являлся ему в видении живущим и потом неотвратно гибнущим, с кем он хотел бы, но не мог поделиться своим бессмертием.

– Гильгамеш, Гильгамеш, ты предал нас, ты продал нас! – шумели они.

– Боги свидетели! – вскричал он, – я продал вас за самую большую в мире цену!

– Как знать, как знать! да и что нам с того?

Гильгамеш выскочил из воды и, всё же освежённый и набравшийся сил, хотя и утомлённый голосами смертных, подошёл к своим одеждам и накинул их на плечи. Цветка под ними не было – вместо него лежал змеиный выползок, и от него тянулся глубокой песчаной бороздкой след змеи и мелкой и тонкой – след унесённого ею Цветка. И Гильгамеш с ужасом и горем, но в то же время и с каким-то облегчением понял, что его бессмертие пропало навеки. Он рухнул на землю, припав лицом к песку, и зарыдал первый раз в жизни. Пески колыхались от его рыданий, и река набухла пролитыми слезами, но с каждым мгновением ужас и горе становились меньше, а облегчение – больше. Теперь он не был предателем, ему не предстояло больше стать ничтожнейшим из бессмертных, он оставался величайшим смертным. И это было больно и радостно.

Через два часа он поднялся, посмотрел на солнце, грустно улыбнулся и пошёл своей дорогой, к городу Уруку, ещё не зная, что не дойдёт до него, а наступит по пути на ядовитую змею и погибнет...

ДРУЖБА

Солнце уже закатилось, давно рассеялся в темнеющем небе дым от погребального костра Патрокла; солдаты, недавние зрители, прибирали сооружённое на скорую руку ристалище траурных игр и выставленные прямо под небосводом столы для тризны. Троя, сокрушённая гибелью Гектора и Ахилловым глумлением над телом лучшего своего богатыря, мрачно и немозвдымала черные зубцы; даже плача не было слышно из-за хмурых стен. Греки расходились по кораблям и шатрам, обсуждая закончившиеся состязания и щедрость устроителя на награды победителям и особенно побежденным. На этот вечер успехи колесничих и дискометателей отодвинули мысли о той, другой победе, которую уже десять без малого лет безуспешно пытались приблизить и которая, похоже, наконец становилась возможной.

Ещё меньше, вопреки ожиданиям, думали о причине игр – к Патроклу всегда относились приязненно и уважительно, но не более; те, кого интересовали не сами игры, а отношения между участниками, гораздо большее внимание обратили на явное Ахиллово благоволение к молодому сыну Нестора, Антилоху – не он ли займёт место покойного подле первого ахейского героя? Пересуды эти поощрялись и тем, что победа юноши над Менелаем на гонках колесниц была довольно сомнительной, а решение судьи-Ахилла – продиктовано личной благосклонностью к молодому человеку и вполне разделявшейся всеми неприязнью к его сопернику, растяпе-Менелаю, из-за которого всё и началось.

– Я и не думаю обижаться на мальчишку, – говорил сам Менелай, запустив пальцы в рыжеватую бороду, сидевшему рядом с ним у берега Одиссею, сегодняшнему победителю в беге. – Он умеет себя держать, ничего не скажешь. Правда, Парис тоже умел... Но, во всяком случае, парнем руководило то же стремление к победе, что и мною, и если Антилох прибег при этом не к тем же способам, что все, не мне его судить: мы не продержали бы здесь осаду десять лет и не подошли бы к концу войны, если бы всем заправлял один Агамемнон без Ахилла или один Аякс без тебя. Думаю, что этот малый теперь пойдёт в гору: Ахилл недолго будет сидеть в своем шатре один – ему понадобится хотя бы собутыльник, не говоря уж о человеке, который в случае чего сможет надеть его доспехи и выйти в бой.

Одиссей с некоторым сомнением покосился на собеседника:

– Может быть, именно поэтому Ахилл выбирает таких со-
бутыльников, которые не пересидят его в застолье, и таких
сподвижников, которые становятся заметными только перед
смертью. Почему-то с тем же Аяксом он не особенно ладит.

– Ну, с Аяксом умеет ладить только один его тёзка.

– Да, и не хотел бы я иметь дело с тем из них, который
переживёт второго – Ахилл отомстил Гектору, но с Аякса ста-
нется отвести душу на первом, кто попадет на его бычьем пу-
ти. Впрочем, надеюсь, что оба они доживут до победы, – теперь
уже немного осталось.

– Главное, – заметил Менелай, – это готовность сразиться
с самым сильным противником, а её хватает всем – потому и
близится конец этой проклятой истории.

– Допустим, – кивнул итакиец, – но, к сожалению, такая
готовность совершенно не определяет, таким или иным окажется
этот конец.

Менелай не обратил внимания на его слова:

– Ты знаешь, когда Гектор уже пронзил Патрокла копьем и
я вытаскивал смертельно раненого из-под медных солдатских
ног, он открыл глаза и прошептал: «А все-таки хорошо, что –
Гектор...» Не может потерпеть поражения войско, где даже вто-
ростепенные герои исполнены такой гордости, чувства чести и
уважения к противнику!

– Ты всегда был идеалистом, Менелай, – покачал головою
его собеседник, – но будем надеяться, что это твоё убеждение
обойдется Элладе не так дорого, как некоторые предыдущие.

Менелай нахмурился, но Одиссей продолжал:

– Дело в том, что Патрокл имел в виду вовсе не то, что
пал от самой уважаемой им десницы.

– А что же, по-твоему, он хотел сказать?

– То, что его мог убить еще лучший богатырь, чем Гектор.

– То есть?

– Подумай сам, Менелай: кем до этих последних дней был
для нас всех Патрокл? Другом Ахилла, и всё – этим исчерпыва-
лось наше мнение о нём, и не сомневаюсь, что и наши дети, ес-
ли и помянут его имя, то только так. Потому-то, когда он вы-
звался надеть доспехи Ахилла и одолел самого Сарпедона, это
оказалось для всех неожиданностью. Мы можем делать вид, что
инюго от него и не ждали, но то, как бездарно мы не сумели
воспользоваться этим его подвигом, после которого (предвидь
мы подобный исход поединка) не составило бы особого труда
на плечах ликийцев ворваться в троянские ворота, говорит само
за себя. А кто знал это лучше кого-либо другого? Разумеется,
сам Патрокл. Всю жизнь он был в тени Ахилла, и это не худшее
положение: ты, например, находишься в такой же тени Агамем-
нона, а я вообще стараюсь не высовываться, разве что на со-

стызаниях в беге. И мы оба этим довольны, и не только мы: вот твой дядя в свое время не пожелал держаться в тени твоего отца, и ничего хорошего из этого не получилось, хотя они вполне стоили друг друга. Но мало кому удастся сохранить удовлетворенность таким местом всю жизнь; вот Патроклу не удалось, хотя никто об этом не узнал...

– То есть... ты хочешь сказать, что никто другой не вызвался заменить Ахилла, когда...

– Именно, – глядя в огонь костра, подтвердил итакиец, – это пришло в голову только Патроклу. Если бы они не были такими друзьями, он предпринял бы подобную попытку значительно раньше, и это было бы очень печально. Но пока Ахилл делал свое дело, его друг не позволял себе никаких сомнений в том, что так и надо, что куда ему тягаться с обожаемым героем. А вот после того, как тот имел глупость повздорить с главнокомандующим и отказался сражаться, Патрокл, кажется, кое в чем изменил свое мнение о нем.

– Ерунда! – отмахнулся Менелай. Все мы знаем, что при том споре он не сомневался в правоте Ахилла (да и в самом деле брат мой перехватил через край); потому-то для всех и было такой неожиданностью это выступление в чужих латах.

– погоди, – возразил Одиссей, пристально вглядываясь в темную согбенную фигуру, неслышно крадущуюся к шатру, крытому трауром. – Конечно, нас ещё более изумило бы, усомнись Патрокл в Ахилловой правоте в том споре, – но он усомнился, и не без оснований, в другом. То, что Патрокл – друг Ахилла, предполагало для него и обратное. Он ведь любил Ахилла не за то, что тот великий богатырь, – это и мы не хуже знаем; он любил его за то, что тот – хороший друг. И не думай, что Патрокла меньше нашего огорчило, когда его друг оказался... ну, скажем так, плохим товарищем. Гектор, как мы убедились, уступил Ахиллу в битве, но можешь ли ты представить, что он поругался с Приамом, заперся в тереме и не выходит на бой?

Менелай промолчал.

– Патрокл усомнился в том, что прежде само собой для него разумелось, что определяло разницу между его другом и всеми остальными, включая и его самого, – в совершенстве Ахилла. Уподобиться совершенству он и не пытался; но если Ахилл – лишь человек, то почему бы ему не стать вторым Ахиллом?

– Легко сказать... – невесело усмехнулся спартаец.

– Вот поэтому Ахилловы доспехи надел и вышел на поединок с Гектором не ты, а Патрокл, – отрезал Одиссей.

– И чем для него это кончилось? – огрызнулся царь. – Гектора мог убить только Ахилл, мы же в этом убедились.

– А могли и не убедиться, – спокойно покачал головой Одиссей. – Патрокл мог победить, я это знаю, и он тоже знал.

Менелай внезапно ухмыльнулся:

– Мой брат отдал бы палец за то, чтобы так и случилось!

– Никто уже и не сомневается, что твой брат Агамемнон способен на необдуманные поступки, – сухо согласился итакиец, – особенно когда дело касается Ахилла. И пожалел бы потом. И, что гораздо хуже, не он один. Так что перед боем я подошел к Патроклу – он стоял, как ствол ясеня, и доспехи друга были ему совсем впору, – и спросил: «Ну что ж, теперь у нас будет два Ахилла?» Он взглянул мне в глаза и ответил: «Да. Если я убью Гектора». – «Ты ошибся, друг мой, – сказал я тихо. – Так уж устроен мир, что в нём может быть только один Ахилл: тот, кто победит Гектора». Тот помолчал, потом торопливо воскликнул: «Но ты же видишь, он сам отказался от этого, Одиссей!» – «Скажи мне, Патрокл: ты уверен, что когда ты совершишь его подвиг, твой друг тебе это простит? Я ни минуты не сомневаюсь, что он с удовольствием подарил бы тебе ту злополучную девушку; но если он уступит тебе победу над Гектором... тогда Диоскуры – щенки перед вами. Я уважаю вас обоих – ты знаешь; я уважаю ещё больше вашу дружбу – ты понимаешь; и мне было бы очень жаль, если бы она закончилась кровью. Потому что эта дружба, дружба Ахилла и Патрокла, принадлежит уже не только и не столько вам. А теперь – не отвечай мне, Патрокл. В добрый час!» Он не произнес ни слова и вышел на бой. Там он совершил свой, настоящий свой подвиг – сокрушил Сарпедона, сына Зевса. А потом пал от руки Гектора. Нет, я не утверждаю, что это было такое самоубийство – просто он предпочёл пасть от руки врага. И, пожалуй, был прав.

Он умолк, краем глаза наблюдая за шатром Ахилла, где подозрительно задержался ночной гость; молчал и Менелай, опустив голову на тяжелые, ободренные колесничными вожжами кулаки – потом вскинул глаза:

– А ты уверен, что не ошибся, хитроумный Одиссей? Ты и наученный тобою Патрокл? Что, если бы Ахилл не стал врагом победителя Гектора, если бы дружба оказалась для него – ну, не дороже славы, это ему немислимо, но – одно и то же со славой? Ведь только мой брат Агамемнон и Ахилл пошли под Троию не потому, что сватались к Елене, – Ахилл пошел ради дружбы с Патроком!

Одиссей посмотрел долгим и сухим взглядом в честные Менелаевы глаза и медленно рассмеялся:

– Может быть. Но твой брат отправился под Троию совсем по другой причине. И ты представляешь, что бы он со мною сделал, допусти я появление в его стане второго Ахилла?

АНТЕНОР

Я родом из Трои.

Обычно, когда я произношу эти слова, мой собеседник – из нейтральной или победившей страны – изображает на лице фальшивое сочувствие (фальшивое потому, что победитель не может испытывать одно чувство с побежденным) и – иногда искреннее – восхищение героизмом обреченного, но доблестно державшегося десять лет города. Он знает, что его город столько не продержался бы, и ему это неприятно, но поскольку Троя все-таки была сожжена и сровнена с землёй, он испытывает и удовлетворение. После чего он спрашивает:

«А как твоё имя, славный троянец?» И тогда я отвечаю: «Антенор».

Насколько мне известно, имя это сделалось уже нарицательным. Антенор – значит, пораженец, значит – предатель, значит – выживший, когда другие погибли. Не важно, что выжили и некоторые из этих других – они, по мнению моих собеседников, всю войну готовились к доблестной гибели и спаслись лишь случайно, это не их вина. А Антенор – он все десять лет делал всё, чтобы прекратить войну и, разумеется, только из страха за собственную шкуру. Мертвые сраму не имут: позор остаётся живым. И особенно – живым побежденным.

Я не собираюсь оправдываться – это никому не интересно. Здесь, в Италии, где я, наконец, осел среди других ветеранов Троянской войны и даже основал городок, который называли Падуйей (некоторые настаивали на имени «Новый Илион», но я успел помешать этому) – здесь со мною считаются, как с хорошим хозяином, хорошим соседом, хорошим товарищем по торговым делам; что я, по их убеждению, плохой человек – это не так важно. Я не знаю, хороший я человек или плохой, – порою мне кажется, что ни мы сами, ни боги не можем судить о людях. И может быть, если я расскажу вам эту историю, историю презреннейшего из троянцев, вы сможете решить для себя этот вопрос. А когда решите, забудьте об Антеноре, потому что он – совершенно не важен.

Троя была большим и богатым городом во Фригии, в Малой Азии, столицей сильного государства. Город собирал босфорские пошлины, ковал щиты и лемехи, вокруг него рыли на свинцовых и оловянных приисках и пахали землю другие фригийцы – которые тоже называли себя троянцами (и потом доказали свое право на это), но столичные жители считали настоящими троянцами только себя. В городе был дворец, во дворце –

старый могущественный государь по имени царь Приам, а у царя было много сыновей и дочерей. Старшего сына звали Гектор, он был очень большой, сильный, честный и простой человек; младшую дочь звали Поликсена, и она тоже была милая и добрая девушка; троянские благородные девицы предпочитали из всех царевен обожать именно её. Была ещё одна царевна, Кассандра: к ней когда-то посватался бог, она отказала ему и за это обезумела – сделалась пророчицей. Я знаю, теперь некоторые говорят, что пророческий дар был как раз преподнесён ей из лучших чувств, а проклятие бога заключалось в том, что ни одному её пророчеству никто не верил; но где вы видели настоящего пророка (настоящего, по призванию и природе, а не по храмовой должности), которому бы верили?.. И ещё жило во дворце много царевен и царевичей, и старая царица – бабушка Гекуба, и её первый внук, сын Гектора и Андромахи, маленький Астианакт... впрочем, он родился уже во время войны.

Война началась под таким же нелепым предлогом, под какими начинаются все войны. Поскольку греки с Запада – их главный вождь Агамемнон, их главный герой Ахилл и их главный политик Одиссей – считали неприличным просто заявить: «Нам нужно троянское олово, и хлеб, и Пролив», – они придумали сложную и замечательную по своему неправдоподобию историю – настолько сложную, что я не уверен, принимал ли в этом участие Ахилл: он был у них вроде нашего Гектора, только моложе. Обставили это так: у спартанского царя было два сына и дочка, все, говорят, очень красивые и достойные лучшего отца. Сыновья погибли в какой-то местной заварухе, и их провозгласили богами, но Спарта осталась без наследника. Тогда царь решил найти себе зятя, как в сказке, чтобы отдать ему дочь и полцарства, а когда умрёт – и все царство. Женихов набралось много: Спарта – царство стоящее, да и о девушке шли слухи, будто она прекраснее всех в мире. Под прикрытием сватовства к этой девушке – Елене – был создан Западный Союз, объединивший всех тамошних греков, приславших своих представителей на это «сватовство». Союз возглавил Агамемнон, царь Микенский и Данайский, а красавицу Елену выдали за его брата Менелая. Мы хорошо видели из-за моря все эти спартанские маневры, я сам и ещё несколько человек – не буду сейчас называть их имена, некоторые, быть может, ещё живы – работали там и сообщали в Троию о готовящемся союзе; так как наших представителей свататься не пригласили, то всем было ясно, против кого он направлен.

Дальнейшего предусмотреть было невозможно, представить – немыслимо; такое мог выдумать только Одиссей, но я теперь знаю, что он был не один. Незадолго до этого в Трое объявился самозванец, назвавшийся сыном царя Приама Парисом и рассказывавший, как он беседовал с голыми богинями; его под-

лечили и выслали из Фригии. Внезапно Парис объявился в Спарте; не знаю, что насулил ему Агамемнон, но через короткое время Парис исчез, а с ним и Елена, жена Менелая. Немедленно было заявлено, что её похитили троянцы. Началась лихорадочная подготовка к войне.

Царь Приам был стар, он помнил, как когда-то Троию взял приступом Геракл; именно поэтому он долгие годы после убеждал себя, что Троя неприступна и что поражение не повторится. Когда послы Союза потребовали выдать и Париса, он ответил, что не может, – и это была чистая правда, потому что в Трое ни Елены, ни Париса и не было; в свое время я расскажу, где мне довелось встретиться с ними. Но греки добились своего – призраки этих двоих незримо обосновались в городе, и даже сами троянцы – большинство – уверовали в их существование так же свято, как в Палладий – чудотворную статую Афины Паллады, упавшую, по преданию, когда-то с неба и хранившую наш город ото всех бед. А когда в призраков начинают верить, они всё больше обрастают плотью и начинают вмешиваться в чужие дела. И первым, что они сделали, было объявление Агамемноном от лица всего Западного Союза войны Трое.

Я уже говорил, что Троя действительно была сильным царством; и как всякое сильное царство, считала себя ещё сильнее, чем на самом деле. Вызов Агамемнона был принят, и началась та патриотическая горячка, которая всегда сопровождает начало любой войны. По улицам носили под воинственные песни Палладий; славил ратную доблесть царя Приама, никогда не державшего меча в руке, царевичей, офицеров, армии, до этого занятой лишь отражением жалких набегов горных кочевников, славил народ Трои – самый лучший, храбрый, сильный, достойный и так далее народ в мире. Ругали эллинских варваров – никого не коробило такое словосочетание; распускали слухи, что их главные герои развратничают друг с другом, а цари приносят в жертву собственных детей. Мы – те, кого успели отозвать из Греции до начала войны, – знали, что это чушь; я и мой товарищ пришли на царский совет и сказали: «Мы видели этими вот глазами – данайцы сильны». Вот тогда царевич Гектор встал со своего места, огромный, как туча, и впервые швырнул мне в лицо: «Пораженец!» И никто не возражал ему. Даже я сам.

Вскоре на множестве кораблей приплыло союзное войско. Троию обложили осадой, Фригию – опустошили за год: столица берегла кадры и не могла посылать достаточно воинов на помощь тем, за стенами, не настоящим троянцам, а каким-то фригийцам! Они умирали, как через десять лет умирали троянцы из Трои; но война только начиналась, и обе стороны ещё недостаточно озлобились: вскоре солдаты-ахейцы встали на постой у

крестьян-фригийцев и неплохо поладили. Не знаю, те или другие больше ненавидели жителей Города...

Царь Приам, царевичи, генералы и офицеры уже сами видели со стен, что данайцы сильны; лучше всех это видела Кассандра – она сказала: «Троя обречена» в первый же день. Её назвали так же, как меня, Гектор, наш доблестный Герой, был немного смущён: он решил объяснить мне, а заодно и всем колеблющимся, почему он отказывается признать мою правоту. Он выдал подлинный довод солдата: «Да, они сильны, но мы ещё сильнее», я вспомнил, как мальчишками мы играли в войну двор на двор, и промолчал. Я надеялся, что Троя повзрослеет – говорят, в беде взрослеют быстро.

Трое не повезло. Греки оказались умны – они не перекрыли сразу же дороги, по которым Город снабжался продовольствием; два года троянцы не терпели ни в чём недостатка, блистали доспехами и ругали подлых данайцев со стен. Произошли первые стычки; погибли первые десять человек с той и с другой стороны и были немедленно провозглашены героями – посмертно. Появились первые живые герои – с наградными бляхами на панцирях и мужественными шрамами на открытых частях тела. Они пили и пели, а народ чествовал их – даже вдовы погибших кричали им: «Отомстите за наших мужей!» То же самое происходило и в греческом лагере. Смерть первого царевича – глупая, случайная гибель ребёнка, вышедшего за стену и принятого за лазутчика, – мало что изменила, напротив, дала Городу первого мученика. До этого я молчал, слушал марши и старался не думать; теперь я задумался. Задумались и в лагере данайцев – мальчика случайно убил их главный герой, богатырь Ахилл, и ему было стыдно своей ошибки; он даже несколько дней не выходил на поле боя (потом это вошло у него в обычай – скрываться в шатре, когда начинались сомнения). Это вселило в меня надежду – значит, обе стороны понемногу начинают понимать, как нелепа эта война. Я думал пойти к Приаму, но мой тогдашний – вероятно, друг, в те годы мы называли это так – капитан Эней сказал мне: «Не ходи. Сейчас царь не думает ни о чём, кроме мести. И он, вероятно, прав». Вы-то понимаете, как ково мне было услышать такие слова от самого разумного человека в Трое, – а тогда никто, кроме меня, ещё не догадывался, на какое величие он способен. Я решил искать единомышленника среди греков.

Самыми умными среди союзников считались старый Нестор, хитроумный Одиссей и тот Паламед, который изобрёл букву «кси» и шахматы. Нестор считался мудрым по традиции, как самый старший. Одиссей, который, как я полагал, развязал войну вместе с Агамемноном, тоже не подходил. Я не знал тогда, что именно Одиссей, именно из-за ума, раньше всех понял ужас войны – ещё до её начала, – и попытался уклониться от службы.

Тогда-то его и разоблачил и ославил как симулянта Паламед. Паламед был несчастным человеком – куда несчастнее тех, которых показывают в трагедиях с борьбой долга и страсти: в нем боролись долг и здравый смысл. Долг победил. Он сказал мне: «Я взялся за это дело, я повёл на войну своих людей и даже Одиссея; мне ясно, что она погубит нас всех, но дезертировать не считаю себя вправе, и других склонять к этому не буду. Каждый отвечает за себя сам». Я понял, что этот человек обречён, пожал ему руку и ушёл. Потом мне стало известно, что когда трибунал по доносу Одиссея – старые счёты – обвинил Паламеда в сношениях с врагом, тот даже не пробовал защищаться. Я не удивился, что его казнили, – для него это был самый подходящий способ самоубийства. Говорят, он не убил за три года войны ни одного человека.

Постепенно греки стали сжимать кольцо вокруг города; уже только каждый третий обоз с продовольствием доходил до Трои. Голода ещё не было, а легким недоеданием мы только гордились; особенно гордились им те, кто не голодал сам, например, царь Приам или Гектор. Но Гектор был большим человеком, и как ни старался он закрыть на всё глаза, как ни уверял себя в победе – он начал видеть то, что видела Кассандра и чего опасался я... и Эней. Однажды мы сидели вчетвером на ступенях храма Аполлона. «Война спалит Троию, – сказал я. – Она уже превратила троянцев в оловянных солдатиков». – «Нет, – отозвался Эней, – самое скверное то, что они не до конца превратились в оловянных солдатиков, но очень стараются превратиться до конца.» Он оглянулся на Гектора, ожидая возражений; Гектор молчал, потом медленно произнес: «Будет некогда день, и погибнет священная Троя... Нам легко, друзья, мы не доживем до этого. Но у моей Андромахи должен быть ребёнок – каково-то придётся ему?» И даже Кассандра ничего не ответила ему тогда – хотя уже всё знала; кажется, она промолчала в первый раз в жизни. Эней взял Гектора за руку и сказал: «Ребёнок не должен видеть этого дня; постарайся отправить его куда-нибудь на Север, если только это будет возможно», – «Чтобы он потом вернулся, – кивнул Гектор. – И отомстил. За отца. За всех нас. За священную Троию». – «И построил новую Троию», – откликнулся Эней, а я добавил: «Даже если ради этого придётся отказаться от мести». Гектор резко отстранился от меня, встал и ушёл. «Бедный», – сказала ему вслед Кассандра. Эней простился со мною и тоже ушёл, а на следующий день ринулся в гущу боя и совершил первые свои подвиги, о которых теперь уже не помнит никто, даже он сам. (Это было в то утро, когда стрела разорвала мне сухожилие на ноге, – я запомнил). Но когда родился маленький Астианакт, Гектор всё-таки хотел переправить его в нейтральную Фракию; однако фракийские власти были предусмотрительны и отказались принять царевича.

Его воспитывали во дворце, у матери; я, негодный для боя хромец, учил его грамоте – азбуке с Паламедовой буквой «кси». Гектор смотрел на нас презрительно, но однажды, когда трёхлетний Астианакт размахивал палкой во дворе, он подошёл к нему и спросил: «Во что ты играешь?» – «В войну», – ответил мальчик. Гектор открыл рот, чтобы сказать ему что-то, но только молча вынул палку из рученок сына, повернулся и ушёл. Больше я никогда не видел, чтобы Астианакт играл в войну. Ни разу в жизни – очень короткой жизни.

Между тем война продолжалась. Голодали уже не только троянцы – голодали и греки. В одних это вселяло отчаяние, в других – надежду на то, что Приам и Агамемнон одумаются и пойдут на мировую. Я делал что мог; уговаривал царя – он не слушал меня; я уговаривал Гектора – он стал избегать меня; я попытался договориться с Одиссеем, мы встретились, и оказалось, что он находится точно в таком же положении. Он очень тосковал по жене и сыну; после смерти Паламеда, единственного человека, которого Одиссей ненавидел так же сильно, как себя самого, он не интересовался победой. Так с двух сторон мы по капле точили камень; точили много лет, и когда из-за какой-то пленницы Ахилл повздорил с Агамемноном и отказался сражаться, мы торжествовали про себя. Не скрою, у меня вновь шевельнулась в душе надежда на победу – я заставил её умолкнуть, понимая, что нужна не победа, а мир, но до сих пор помню про это. Одиссей не удержался от очередной авантюры, на этот раз настолько опасной, что я лучше чем когда-либо понял, как ему тяжело и как он готов даже на поражение. Он одел в Ахилловы доспехи Ахиллова друга, и тот вышел на бой с опущенным забралом. Что это – не Ахилл, знал в Трое только я: но мне было нужно, чтобы кто-нибудь из троянцев убил именно Ахилла или того, кого он искренне принимает за Ахилла; этого же хотел и Одиссей. Никто из горожан не решился выступить против главного вражеского героя; на него ринулся первый наш союзник, Сарпедон Ликийский, недавно прибывший по непонятным причинам с Юга на помощь Трое (возможно, он стремился доказать, что он – действительно сын Зевса, чему не все верили). Ахиллов друг убил его; наш первый и – тогда – единственный союзник был втопан в пыль, Эней и Гектор рванулись отбивать его тело, и Гектор пронзил Ахиллова друга копьём. Доспехи Ахилла грянулись о землю, и я никогда не слышал крика, более хлещущего радостью, чем крик смотревших тогда со стены... среди которых был и я, знавший всё. Но и эта надежда обманула. Ахилл, потеряв друга, вышел на битву – не ради Агамемнона или Союза, а ради мёртвого тела под сапогами данайских и троянских солдат. Он вызвал Гектора на поединок; Гектор вышел, убеждая себя, что не знает, чем этот поединок кончится. Ахилл убил его. Ахилл привязал его тело к колеснице

и протащил вокруг города по камням. Ахилл заколол над могилою друга десять троянских пленников, и я почти поверил сплетне о девушке на алтаре в далекой западной гавани Авлиде... В этот день впервые все в Трое поняли, что приходит конец. И тогда единственный троянец, который был по-настоящему виноват в войне (все мы, конечно, но больше всех – он), тот, от кого этого никто не ждал, – царь Приам ночью пешком пришёл в греческий лагерь, вошёл в палатку Ахилла и попросил у него изуродованное тело сына – чтобы предать его сожжению по всем правилам (с принесением в жертву быков, а не людей). Я не знаю, о чём они говорили в ту ночь; даже Одиссей не знал этого; но наутро Приам принес тело Гектора в Троию, а Ахилл снова не вышел из шатра. Он, самый сильный из эллинских героев, впервые понял, что устал от войны.

Потом всё началось сначала – к нам явился Мемнон, эфиопский чёрный царь с чёрной дружиной, чтобы, как он сказал, помочь благородному делу погибающих. Он был похож на ворона – чёрного каменного ворона; и мне впервые показалось, что Троя уже мертва, а над её телом начинается такой же бой, как над трупом Ахиллова друга или Гектора. Я не смотрел на сражение – я сидел у Андрوماхи, играл с Астианактом, беседовал с его матерью и думал: «Какая она маленькая, эта троянская надежда! надежда на мечь или на возрождение! и насколько вот в этом пятилетнем мальчугане её больше, чем в огромном черном богатыре, который косит мечом в поле направо и налево, путая греков с троянцами, потому что они одинаково белые...» Мемнон убил друга Ахилла – нового друга, с которым тот хотел забыть старого; этот юноша был единственным сыном старого Нестора, и, говорят, погиб, заслонив собою отца. Ахилл снова вышел из шатра и заколол Мемнона. В схватке над его огромным телом полегла вся чёрная дружина, а ночью тело куда-то исчезло – то ли богиня Заря унесла его на родину, то ли мародёры, ободрав пышный доспех, зарыли его, как собаку...

Троя ещё жила, но война за троянское наследство уже началась. С востока пришли амазонки, дикие всадницы; они, помню, всё требовали, чтобы им показали Елену. Ахилл и тут вел себя, как прежде, убил их царицу, устыдился, как когда-то, восемь лет назад, после смерти мальчика, с досады убил одного из самых ярких сторонников мира в ахейском лагере (его звали Ферсит, он был уродлив, речист и сделался миролюбом, когда понял, что троянской добычи на него не хватит; мне не было жаль его) – и снова ушёл в шатер. Однако теперь положение изменилось. У Трои уже не было Гектора, но все восточные народы почувствовали, что Данайский Союз вот-вот сокрушит Илион – их щит и заставу, – и стали присылать нам подкрепления, которые нечем было кормить. Агамемнон смутился. Агамемнон послушал Одиссея. Приам, который после смерти Гекто-

ра думал уже не о войне до победного конца, а о том, как спасти Астианакта, послушал меня и Энея (Эней тогда уже почти дорос до своего грядущего подвига, и Приам чувствовал это). Решено было заключить мир и скрепить его браком Ахилла и светлой царевны Поликсены, Я не кричал от радости, когда они шли к алтарю, как кричал при виде подвига Гектора, – у меня не хватило бы голоса на такое счастье. Помню, как в тумане, что удивился, как, оказывается, они похожи друг на друга – Ахилл и Поликсена, светлые и грустные; как похожи греки и троянцы; как похожи люди и люди... Потом неизвестно откуда свистнула стрела, и Ахилл упал.

Никто не знает, кто стрелял в тот день. Греки уверяли, что Парис (которого не было в Трое). Троянцы утверждали, что Аполлон (у которого были с нашим городом старые счёты – это был тот самый бог, который проклял Кассандру). Я не знаю, кто это был. Может быть, это сделал один из самых здравых людей в Трое, человек, понимавший всю бессмысленность этого выстрела, всю его преступность, и выстреливший только потому, что был всё же троянцем, был обречен остаться последним троянцем, был обречен на близкий подвиг и в безумии поторопил время... не знаю. Не спрашивайте меня об этом. Я не хочу верить, что это был он, да и вы не хотите.

После срыва переговоров, после этой катастрофы в обоих лагерях началось безумие. Греческий богатырь, второй после Ахилла, повздорил с Одиссеем; Агамемнон послал их к троянской стене, чтобы наши женщины разрешили их спор; я понял, что мы – мы, троянцы и мы, греки – начинаем сходить с ума. Наши женщины рассудили в пользу Одиссея; его соперник в приступе бешенства искрошил мечом и бичом стадо овец и бросился на собственный клинок; в Трое старший царевич (Приам уже ничего не мог) приказал по этому поводу открыть для народа винные погреба – он боялся, что ему, второму после Гектора, пришлось бы драться со вторым после Ахилла. В эту пьяную ночь снова загремели песни первого года войны – о победе, и новые – об отмщении, и не пели только последних – об избавлении; а я держал на руках Астианакта, который не мог уснуть от шума, и шептал ему: «Выживи, Астианакт, выживи, мальчик, и не мсти! не мсти! не разрушай Микены за Троию, а отстрой новую Троию!» И тогда я понял: для этого старая Троя должна погибнуть скорее, чем могла бы.

Вот сейчас пойдет речь о предательстве Антенора – я сам расскажу о нём, словно глядя со стороны. По подземному ходу хромой Антенор выбирается из хмельного города и ползёт мимо ахейских часовых, рыгающих бараньей похлебкой, к шатру Одиссея. Одиссей, победитель в споре, сидит среди наградного оружия – доспехов Ахилла, – зная, что поднять их ему не по силам и ни к чему. Они видят друг друга. Они говорят. Один гово-

рит о мальчишке, которого унесут в горы, вырастят, а потом он спустится на выжженное место и возведёт новый прекрасный город. Другой говорит о мальчишке, который жив, быть может, или умер с голоду без отца где-то далеко на крошечном островке Итаке, мальчишка, которого Одиссей должен был убить, чтобы доказать свое безумие, не пойти на войну и подать пример прочим. Потом они встают, и ползут мимо часовых, через подземный ход, в Трою, в храм Афины, и снимают с возвышения золотую статую – Палладий, чтобы унести его в греческий стан, чтобы кончилась агония Трои. И девушка, жрица, бледная, тонкая, похожая на Ахилла в его последний день, застаёт этих двух облепленных землёю и грязью мужчин – и молча пропускает их к выходу из храма. Потом Одиссей уносит кумир через подземный ход, к вящей славе своей хитрости, а тот, второй, садится у стены и ждёт утра – первого луча солнца, который скажет ему:

«Предатель!» Солнце не сказало ему этого – он устал и невольно задремал, а когда людские голоса разбудили его, солнце было уже слишком высоко; впрочем, люди говорили ему то же самое; и даже самый большой – уже самый большой из них, хотя ещё и не знающий этого – Эней швыряет ему то же слово. И люди хотят убить Антенора, троянцы – троянца, который оказался недостоин их Города, который допустил, что те, осаждающие – не хуже их... Но тут старик в красном плаще, седой Приам протягивает руку и говорит: «Стойте! Он должен спасти Астианакта!» И толпа откатывает, понимая: да, он должен, и человек встаёт, понимая; да, он должен.

Война шла ещё три месяца, К грекам приехал из-за моря рыжий мальчишка, сын Ахилла; к троянцам – пергамский царевич, и ещё какие-то благородные стервятники с обеих сторон; потом – ужас, безумный, как и всё тогда: эллин Филоктет, брошенный на глухом острове больным десять лет назад, вернулся и из Гераклова лука застрелил несуществующего Париса; потом – надежда, ещё безумнее, но такое тогда было время: данайцы уплыли, оставив деревянного коня, – нужно зачем-то внести его в город. Кассандра кричит – её не слушают; жрец с двумя сыновьями бьёт копьем в деревянный бок, и в сосновом брюхе гудит железо – их сминают, троянцы хотят напиться последней надеждой... Потом – ночь; пожар; резня; Кассандра в храме, онемевшая, и над ней – двойник того грека, который бросился на свой меч; я, укрывающий собою Астианакта от рыжего мальчишки, которого хватает за руки Одиссей – но мальчишка силён в отца, и я падаю с рассеченной головою, и успеваю только услышать крик ребёнка – гибнущего троянского будущего, и крик безумного старика в пурпуре – троянского прошлого, а потом не помню и не вижу ничего...

Я очнулся на третий день – Город уже даже не дымился. Сын Ахилла напился крови досыта, последней он убил троян-

скую девушку, так похожую на его отца, и, усталый, повалился и уснул. Делили пленниц и пленников – таких же раненых, как я. Меня вытребовал себе Одиссей; военврач Подалирий перевязал мои раны, как перевязывал десять лет раненых греков, и похвалил моё крепкое от природы здоровье – если бы чуть-чуть выше и так далее.... «Ты повезёшь меня с собою на Итаку?» – спросил я Одиссея, чтобы хоть чем-то отблагодарить его; мне не хотелось признаваться, что я жалею о том, что выжил... а мальчик – нет. Одиссей посмотрел мне в глаза, и я увидел, что он всё понимает. «Нет, – сказал он, – ты же не раб. Поезжай куда хочешь, а я, боюсь, слишком долго буду добираться до Итаки».

Я уплыл на одном корабле с Подалирием; гребцы – троянские рабы проклинали меня, как проклинали день назад бежавшего навстречу своему подвигу Энея. Я не сразу понял, что врач Подалирий тоже болен – его контузило, он терзался страхом, что небо упадет и раздавит его; наконец, он отыскал какую-то долинку между гор, решил, что вершины удержат небо и остался там, а я поплыл дальше – один. Я видел ликийцев, фригийцев, критян, хеттов, чернокожих ливийцев и жёлтых египтян – все они слышали о Троянской войне, а некоторые даже участвовали в ней; все они презирали меня, а я радовался, что хоть в этом они единодушны и согласны между собой, В Египте мне пришлось задержаться, я постучался переночевать в какую-то хижину; мне открыла очень красивая женщина, за подол которой цеплялись двое ребятишек – примерно Астианактова возраста. Мне показалось, что я где-то видел её; тут ко мне подошел её муж, хозяин дома, и с круглыми глазами стал рассказывать, как он когда-то судил трех голых богинь, и что из этого получилось; Елена сидела, шила рубашонку сыну и плакала молча. Я переночевал у них и поплыл на другом корабле на север, даже не свернув посмотреть на знаменитую статую Мемнона – памятник, воздвигнутый в Египте герою сопредельной Эфиопии за то, что он погиб и больше не мешает.

В Микенах я уже не застал Агамемнона – его убили жена и её любовник; я подумал – стоило ли ради этого воевать? но мне и так было ясно, что – не стоило, ни из-за чего. В Спарте я спросил о Елене – мне ответили, что её убил юный родственник, воинствующий миротворец, возложив на неё вину за войну. Одиссея на Итаке я не застал – он ещё не вернулся; двойник безумца, перебившего баранов, утонул при таинственных обстоятельствах на обратном пути; рыжий мальчишка бродил по городу с годившейся ему в матери немой Андромахой и хвастался, что убьёт того бога, который застрелил его отца (мне подумалось – как охотно греки переняли эту троянскую версию). Потом я уплыл в Италию, в одном из храмов увидел на стене лук Геракла – его посвятил туда Филоктет, не захотевший воз-

вращаться на родину, чтобы не воевать с теми, кто воцарился там в его отсутствие. «Ты правда застрелил Париса?» – спросил я. «Мне сказали, что это был Парис, – ответил Филоктет. – С тех пор я не выстрелил ни разу. Это был единственный человек, убитый мною». Мы расстались по-хорошему, и я обосновался неподалеку, основав этот городок, Падую.

Я часто встречаюсь с Филоктетом, ко мне в гости один раз приезжал Одиссей, а потом его сын; вообще по Италии расселилось много греческих и троянских колонистов, лишившихся из-за войны родины – Диомед, Амфилох и другие... Я вижу со всеми с ними – с теми, кто мне друг, как Филоктет, или только ведет со мною дела, как Диомед, или открыто презирает, как некоторые. Здесь, на Дальнем Западе, легче понимается, что все люди одинаковы, что троянцы не лучше и не хуже греков, и что даже Астианакту, наверное, не обязательно было бы отстраивать Трою... Все мы земляки по этому миру, и я заплатил свою нелёгкую цену за право понять это...

Только с одним соседом мы никогда не видимся и стараемся не упоминать друг о друге. Он делает то же, что я; тоже основал здесь новый город и тоже не позволил наречь его Новой Троей. Не позволил назвать и своим именем, говоря, что именование лучше оставить потомкам. Он герой, его имя запомнят и так. Его зовут Эней.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Ночь была над землёю, над всей Иудеей, и на тёмно-синем, как финикийское стекло, небе выступали зубчатые стены и башни чёрной, умирающей от жажды Ветилуи; луна, замершая над нею, бросала чешуйчатый блеск на недоступную для осаждённых реку, и свет её стекал по каскам ассирийских часовых на берегу; а поодаль горели костры, огненной дугой охватывавшие крепость – то был лагерь Олоферна, главнокомандующего Ашшура, которого опасался сам великий царь Навуходоносор.

Под иссохшей смоковницей на пригорке между станом и городом стоял седой старик; алый плащ и золочёный панцирь, казалось, лишь давили своей блистательной тяжестью истощённое голодом тело, пытаясь пригнуть его к земле, но он стоял прямо и недвижимо. Это Озия, комендант Ветилуи, всматривался в темноту; его могли в любую минуту заметить солдаты Олоферна, но он, казалось, не думал о них и лишь глядел на костры вражеского стана, моргая воспалёнными глазами. И вот две женщины приблизились к нему со стороны костров лагеря: одна была высокой и статной, золото и виссон сверкали и шелестели на ней, чёрные брови сходились, как далёкая чайка над морем, и глаза сурово горели; вторая, одетая как служанка, следовала поодаль с котомкой.

– Юдифь! – воскликнул старик и поспешил первой навстречу. – Я уже боялся, что ты не придёшь.

Она повела плечами:

– Ещё бы вы не боялись!

– Юдифь, ты же знаешь, мы все понимаем величие твоего подвига – ты пошла на смерть ради нас.

– Надеюсь, что не умру, хотя бы это и убавило мне величия, – презрительно ответила женщина.

– Ты... Как ты сумела выйти? Разве тебя не заперли в лагере?

– Нет, – гордо покачала головой Юдифь, – и ты знал, что я приду, раз ждал меня здесь. Я сказала Олоферну, что хочу помолиться Богу, но не могу же я поклоняться Ему среи идолов!

– И он не убил тебя? – спросил Озия с удивлением, но без страха.

– Нет. Нет. Эх вы, старейшины Ветилуи, плохого же вы мнения и обо мне, и об Олоферне, если решили, что я, придя в стан убить его, сразу же попрошусь в походный гарем. Да там его жёны сразу же растерзали бы меня из зависти. Я помнила,

что Олоферн – враг мне, и моему городу, и моему народу, и моему Богу; но я помнила и то, чего ты так и не понял со слов перебежчика Ахиата: что он велик. Разве Навуходоносору покорился Египет, и Киликия, и Сирия? Нет, они высмеяли его – но склонились под мечом Олоферна. Я шла к большому человеку и знала это. Я приблизилась к страже и одним взглядом отбросила их похотливые взгляды, и сказала: «Я пришла к Олоферну, величайшему полководцу мира», и в этом не было лжи. Меня провели к нему в шатёр: могучий, прекрасный, густобородый, он возлежал на пышном ложе под пологом, и пурпурные одежды его играли золотым шитьём, смарагдами и яхонтами. И я увидела воочию его величие, а он – мою красоту, и я, склонившись перед ним, уже знала, что делать. «Что привело тебя ко мне, дочь Иудеи?» – спросил он через толмача, но недаром мой покойный муж обошёл с караванами все страны – я ответила ему на его языке: «О великий Олоферн! Слава тебе, т царю твоему Навуходоносору, ибо скоро вашей славы прибавится. Через три дня Ветилуя падёт к твоим ногам». – «Хорошо, – промолвил он, – я и не сомневаюсь в этом; но разве ты, иудейка, не уверена, как все твои соплеменники, что ваш бог спасёт вас?» – «Да, – отвечала я, – велик наш Бог, и нет другого кроме Него; и никто не сломит наши стены, и не притупит наш меч, и не накажет наш род, пока десница Его над нами; но она хранит лишь праведных. А город мой – горе ему! – впал во грех, и от голода и жажды, отрезанные от реки и пастбищ, сограждане мои стали есть запрещённое нашей верой и – горе им! – даже посягнули на храмовые запасы, на долю Божию; и гнев Его над нами!»

Озия побледнел:

– Ты так сказала о нас ассириянину при всех ассириянах? Впрочем, рассказывай дальше!

Юдифь усмехнулась:

– Да, и я сказала: «Узнав об этом, я бежала из города, ибо он обречён; и Бог послал меня свершить вместе с тобою такие дела, которым изумится вся земля, где только услышат о них!» И тут он поднял меня с колен и сказал: «Встань! Кто пренебрежёт народом, имеющим таких жён у себя?» И я всплеснула руками и крикнула: «Истинно говорю тебе, я послана Господом моим известить тебя о победе и привести к ней, ибо что мог бы ты сделать, не будь на то воли Господней?»

– Ты пророчествовала? – вскрикнул Озия, не оглядываясь на солдат, могущих услышать его голос. – Ты воистину слышала глас Божий? За что же эта кара – ведь мы не нарушили ни поста, ни запрета, это лишь твои слова!

– Озия, Озия, – вздохнула Юдифь, но странная улыбка не оставляла её губ, – что ты? Ты ли усомнился в справедливости

Бога Благого, благочестивый Озия? Конечно же, я лгала Олоферну.

– Ты лжепророчествовала, Юдифь?

– А зачем вы послали меня – убить Олоферна или обличать его веру? – раздражённо возразила женщина, и комендант склонил голову:

– Да. Прости меня. Ты совершила страшный грех, лжепророчествуя, ты погубила свою душу, но тем выше твой подвиг, если даже такой ценою ты готова спасти своих ближних. Да не зачтётся тебе этот грех!

– Не зачтётся! – уверенно отрезала Юдифь. – Слушай же: услышав слова мои, он встал и молвил: «Честь тебе, пророчица, и честь Богу твоему!» Ведь знаешь, Озия, ещё слушая Ахиата, я поняла: Олоферн силён, и чтит Бога сильных; Истинный Бог для него – это Сильный Бог, и под стопы ему бросит он своих идолов, если они слабее, как и сам может попрасть своего царя, если осознает свою мощь!

– Да, это похоже на ассириян – смешивать силу и Истину, – кивнул Озия сурово. – Не им понять, то Богу любезен слабый, но верный.

– Слушай же: он встал и сказал: «Хвала Богу, что он впереди твоего народа послал тебя, дабы возвестить нам нашу силу и вашу гибель. И облик твой прекрасен – такой и надлежит иметь пророкам; не стой же предо мною, а воссядь рядом». И я села близ него, и все склонились перед нами двоими, сильными и прекрасными, ибо он тоже был очень хорош собою и могуч, и глаза его горели восторгом.

– Да, Юдифь, у варваров принято считать, что пророк должен быть статен и красив, – подтвердил Озия. – Это мы знаем, что несущий Истину может казаться подобным ростку из сухой земли, не имеющим ни вида, ни величия, скорбным и недужным; но, по слову пророка, он возьмёт на себя наши немощи и понесёт наши болезни.

Юдифь даже не потрудилась придать своему лицу выражение почтения; глаза её блеснули досадой:

– Это так, но это не значит, что он видел во мне лишь пророчицу, а не женщину; Олоферн, в отличие от вас, умеет и любить, и желать, и уважать сразу, а вы – лишь порознь. Он сказал мне: «Если ты не лжёшь, женщина, – а я хочу верить тебе, – если всё свершится по слову твоему, то силён твой Бог, и да будет он Богом моим и Богом земли моей! А ты – нет, не в лагере тебе жить и не в жалкой крепости, которую через три дня я сравняю с землёй, а в Ниневии, не в доме иудея и не в шатре полководца, но в царском дворце! Ибо как твой Бог поможет нам сокрушить Ветилу, так нам обоим поможет Он достичь и большего!» – и все закричали и загремели оружием, а кто-то воскликнул: «Слава Олоферну, царю Сильному, повели-

телю Ашшура, Египта, Сирии и Палестины!»), но он прервал их, молвив: «Рано! Пока вы – рабы Навуходоносора, и я – слуга его, и Мардук, хранящий его – бог наш. Но если иудейский бог поможет нам сокрушить эту крепость, которую так долго оберегал, – сорок дней мы, покорители Египта, не можем взять её! – то Он – мой Бог, и Он станет и вашим Богом, Богом сильных и славных сынов Ашшура и их царя!» И вновь все зашумели, и забряцали, и приветствовали его, а некоторых недовольных тут же на месте убили. И он отвёл меня в шатёр, и дал право входить к нему без условленных знаков, и молиться Богу моему вдали от идолов. Вот, Озия, почему я прошла сюда беспрепятственно!

Лицо её сияло торжеством, но в глазах старика дрожало и билось смятение:

– Так ты говоришь, что он поклялся, взяв город, обратиться в истинную веру сам и со всем своим народом? И ты веришь его намерениям?

– Да, гордо отвечала Юдифь, – **мне** он лгать не посмел бы. Но что нам до его оетов? Не за ними пришла я в лагерь ассириян...

– Ты хотела молиться, – перебил её Озия, – так молись же!

И, подчиняясь его властному взгляду, она опустилась на колени, а сам старик, объятый тяжёлой думой, отвернулся и застыл, глядя на тёмные зубцы Ветилуи, не шевельнувшись, пока Юдифь не прошептала последнего слова молитвы. Она уже поднималась с земли, когда он повернулся, и Юдифь замерла, не разогнув колен, при виде его лица.

– Я тоже верю Олоферну, – произнёс Озия нелегко, – он силен и честен; он выполнит свою клятву, если победит, и Ассирию с подвластными ей землями от Киликии до Египта озарит Свет Истины. А значит...

– Что – значит? – перебила Юдифь; теперь трудно было поверить, что какая-либо улыбка возможна на её лице.

– Значит, Ветилуя должна пасть, – беспощадно прошептал старик, уронив голову на грудь.

Юдифь отшатнулась.

– Ты безумен! Опомнись! Ты не знаешь Олоферна! Он истребит всех от мала до велика и сравняет город с землёй!

– Значит, так надо, – промолвил Озия, – надо для вящей славы Божией. Что один город верных, если на другой чаше весов – обращение к Итине полумира?

Юдифь взметнула руки, глаза её сверкали гневом:

– Что? Ты спрашиваешь, что – жизнь наших братьев, истомлённых жаждой, так что руки их едва удерживают мечи, и раскалённые шлемы слишком тяжелы для голов? Что – жизнь наших женщин, которым нечем обмыть новорожденного, и молоко иссякло в их груди? Что – жизнь детей, ползающих в

напрасных поисках хотя бы грязной лужи? Что – эти стены, которые никогда не мог сокрушить таран врага? И улицы, на которых запечатлелись тысячи следов – твоих, моих, и наших братьев, и отцов, и дедов, моего мужа и твоих дочерей? И это всё ты хочешь обречь огню?

– Это жертвенный огонь, – произнёс Озия, глядя ей в глаза. – Это жертва Господу.

– Но люди – не тельцы и не бараны, а ты не жрец! Где твоё право неволить их? Ты был избран ими, чтобы спасти, а не погубить!

– Есть избранничество выше, и избран весь город. Я расскажу им, и они сами поймут, что ныне нужно пожертвовать собою. Ведь пошла же ты на верную смерть? За всех ветилуян, когда решилась убить Олоферна – и стать мученицей? Можешь ли ты отказать в мученическом венце нашему городу? Веди ассириян в бой – мы не станем сопротивляться, и да поможет это миру!

Тихо и тяжело падали слова коменданта, но, казалось, эхо гудело вслед за каждым из них. Юдифь видела правоту этого старика с высохшим лицом, обтянутым пожелтевшей кожей, строго сжатыми узкими губами и спокойно и страшно горящими глазами обречённого; видела, но принять её не могла.

– Правда на крови? – крикнула она гневно.

– Правда на крови, – камнем упало в ответ.

Она рванула из рук у служанки котомку, вытащила что-то, завёрнутое в полог от ложа, и неожиданно тихо, но с прежней яростью вымолвила:

– Так пусть – на этой крови; и, клянусь именем Господним, я не знаю, чья кровь достойнее – твоя, благочестивый Озия, или этого язычника!

Она рванула покрывало, и голова Олоферна покатилась по траве, марая её бурой кровью; густая чёрная борода слиплась, рот был приоткрыт последним вздохом, а глаза закатились, словно голова, наткнувшись на корень смоковницы и остановившись, хотела проводить взглядом уползающую на запад луну. И молча стояла над ней Юдифь, мрачная, скорбная и торжествующая, вглядываясь в оцепеневшие черты равного своего противника, и долгим, слишком долгим был этот взгляд. Потом она ощутила у себя на плече костлявую руку Озии и услышала его голос:

– Идём. Мы должны показать **это** городу.

Юдифь оттолкнула пальцы старика ото лба Олоферна, открыла мёртвое лицо пологом, завернула голову и, опустив её снова в котомку, посла вслед за комендантом; служанка поспешила за ними.

А на востоке поднималось солнце, костры бледнели, и в ассирийском лагере уже слышались шум и крики.

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ

Его высочеству Лиру, бывшему королю Британии, и её величеству Корделии, королеве Галлии, в тюрьму, совершенно секретно

Зная ваш нрав – высокомерие отца и брезгливую гордость дочери – я имею основания опасаться, что вы, не читая, разорвёте это письмо – послание того Эдмунда Глостера, который разгромил ваши войска и пленил вас; у её величества имеются на то и некоторые иные основания. Тем не менее я не советовал бы вам так поступать; это не угроза, хотя вы в моих руках, и податель сего может предать вас смерти прежде, чем герцог Альбанский успеет вмешаться и предъявить обвинение одному – в государственной измене (с последующим заточением в Бедлам), а другой – во вторжении без объявления войны в пределы Британии (с последующим тюремным заключением в надежде на выкуп королём Галлии). Впрочем, на последнее рассчитывать также не приходится – ниже будут изложены причины странного поведения галльского короля.

Итак, вам пишет Эдмунд, усыновлённый бастард герцога Глостера (как мне стало известно, уже покойного) и наследник его титула. Враги мои, подобно вам, если нуждаются в выяснении истоков моего нрава (коварного, жестокого, мятежного и т.д. и т.п., не так ли?), как правило, объясняют это именно тем, что долгие годы я, старший отпрыск Глостера, был ущемлён в правах собственным отцом, который ещё подростком спроводил меня в Галлию – якобы для совершенствования в науках. Это была ошибка.

Что ж, латынью я действительно овладел, постиг многие галльские наречия и германские языки, чувствуя, что такие познания могут оказаться необходимы тому, за чьей спиной стоят не два вельможных рода, а только один, и то готовый в любую минуту отречься от старого греха. Девять лет, девять долгих лет за Проливом, вдали от матери, которую Глостер даже не допускал в замок, от младшего брата – чистокровного наследника, от британского двора, от вас, госпожа – лишь однажды мне довелось встретиться с вами перед отбытием на чужбину, и вы, казалось, не заметили меня, а я, пятнадцатилетний мальчишка, запомнил навсегда... Впрочем, это были всего лишь пустые мечты переходного возраста – и ничем иным быть не могли.

Тем не менее заморский студент был взыскан вниманием и милостью вашего будущего супруга, сперва дофина, а потом короля Галлии; я был приближен к его особе, к его канцелярии, его двору – между прочим, именно благодаря его сватовству и визиту в Британию к королю – ещё королю – Лиру Глостер решился, наконец, признать меня если не законным наследником, то хотя бы побочным сыном: всё-таки я возвратился в свите могущественного государя...

Он умён, смел и благороден, король Галлии и ваш супруг, сударыня; он честный человек, кто иногда приводит к столь же печальным результатам, сколь и вздорность – прошу прощения – бывшего британского монарха; и он знает это. Во всяком случае, я оказался бесполезен ему, а мне с ним повезло чрезвычайно: там, в Лютеции, я понял, что совершенно необязательно иметь за собою череду чистопородных предков, чтобы быть хорошей охотничьей собакой; а затем уразумел и то, что достоинства такой собаки отнюдь не исчерпываются преданностью – ею можно пренебречь или оставить для дворняжек, борзой же необходимо уважать хозяина, умело делающего своё дело, чтобы верно служить ему. Впрочем, королю я был предан искренне – он снизошёл до меня, поднял из грязи, даже предлагал за казённый счёт отправить на Юг для повышения образования где-нибудь в Этрурии или Сицилии. (Со всем как Глостер – только тот отделялся от ненужного ему человека, а король хотел повысить ценность того, кто может ему пригодиться...). Туда я, однако, предусмотрительно не поехал – ни морем, ни через земли бургундского герцога, с которым галлы не слишком ладили, – зато постарался побольше узнать о событиях, происходящих в чужих странах; о реформах эллина Ликурга, о величественных гробницах и храмах египтян и не в последнюю очередь – о государственном перевороте в Альба Лонге.

Этот переворот очень заинтересовал меня: в нём почудилось что-то знакомое. Принцесса рождает близнецов от неведомого отца, чуть ли не от самого Марса, а её отец, старый король, изгоняет дочь и бросает младенцев в лесу на произвол судьбы; те вырастают, вскормленные молоком волчицы, узнают о своём происхождении (или оно проявляет себя само), – и возвращают себе по праву принадлежащий престол и место в истории; потом один из них гибнет от руки другого, а этот другой, по имени Ромул, основывает многообещающий город... Не слишком ли много совпадений для бастарда-изгнанника, питаемого на чужбине млеко Французской Волчицы, или, если угодно, Марсовым Волком?..

Правда, в меня в помине не было близнеца – мой младший брат, согласно закону, выше которого в то время могла оказаться только прихоть короля Лира, наследовал титул и

земли, оказываясь тем самым в стане моих обидчиков – вместе со своим отцом. Да, Эдгар – мальчик добрый, благородный и неглупый, это я понимал: он согласился бы выплачивать мне некоторый пенсioen, как выплачивал его отец моей матери. Но именно в силу своей незыблемой честности пред законом он ни за что не поступился бы тем, что причитается ему, не разделил бы имущества, не нарушил майората – может быть, даже стал бы защищать закон против самовластия Лира...

На это последнее мне и приходилось рассчитывать в ту пору, когда я осмелился отправить вам, сударыня, своё первое письмо – вам, любимице короля Лира, готового исполнить любой ваш каприз и расправиться с непокорившимся ему. Конечно, здесь был не только расчёт, но расчёт не мешал мне никогда. Никто не догадывался, что послания галльского монарха, в которых он столь пылко объяснялся в любви, написаны вот этой рукою – никто, кроме вас, уже знакомой с моим почерком по первому объяснению, перелетевшему пролив.

Слишком поздно узнал я, что ваше величество проговорилось о нашей тайне самому неподходящему человеку – шуту Лира; а ведь только из этих вот строк, вероятно, вам станет известно, что не было человека в Британии, когорый был бы влюблён в вас горячее, чем этот несчастный, едва не умерший от огорчения после вашей опалы и отъезда. Или вы всё-таки знали об этом? Тогда вам должно быть известно и то, чего не ведаю я сам: куда делся шут после того, как вместе с королём и неизвестным (как выяснилось теперь – никем иным, как опальным Кентом) прибыл в вашу ставку в Довер? Если вы доживёте до следствия, которое собирается проводить герцог Альбанский, то, естественно, заявите, что шут был бургундским шпионом; учтите, что у меня имеется в запасе достаточно доводов, чтобы опровергнуть подобную напраслину – потому что и я, сложись судьба моя иначе, мог бы оказаться на его месте...

Однако довольно об этом. Король – если он слушал вас, когда вы читали предшествующий абзац, если услышал и если ещё хоть что-то соображает, – знает теперь, почему вы столь охотно отправились в Лютецию, а не в Арелат. Теперь пора открыть ему ещё более удивительную загадку: почему вас, бесприданницу, всё же взял в жёны првелитель Галлии, идя тем самым на заведомый разрыв дипломатических отношений с Бургундцем и ставя под сильное сомнение союз с разгневанным Лиром? И ответ этот будет ещё любопытнее для почтенного старца.

До поры до времени я обдумывал историю Ромула и Рема, как если бы они были сыновьями герцога Глостерского; неудивительно, что вскоре я стал прикидывать, как сложилась бы моя собственная судьба, родись я сыном не герцога Глостер-

ского, а если не самого Марса – это было бы кощунство! – то какой-либо другой персоны, которая двадцать с лишним лет назад вела крайне беспорядочный образ жизни и в то же время находилась на недосягаемой для моей матери впоследствии высоте. Этими размышлениями я, как бы в шутку, поделился с королём Галлии; он, однако, принял их к сведению со всей серьёзностью. В результате, как только мы вступили на Британский берег и прежде чем отправиться к отцу в свите короля с подобающей торжественному случаю неторопливостью, я в сопровождении двух лиц бесспорно благородного происхождения, галла и британца, отправился к матери, в богадельню при храме Венеры Эссекской.

Мою несчастную мать мы застали уже при смерти – во всяком случае, через несколько дней она скончалась, и у меня нет оснований предполагать, что причиной тому послужила нескромность кого-либо из свидетелей. В присутствии жрицы храма и упомянутых двух лиц я потребовал, чтобы она ответила мне, поклявшись Венерой и Юпитером, действительно ли я принадлежу к роду Глостера. «О нет, сын мой, – прошептала матушка, – Глостер – всего лишь слепец и развратник. Не от его семени ты зачат; отец твой – король Британии Лир, в чём и клянусь Юпитером и Венерой Эссекским и Глостерскими». Признание сие зафиксировано письменно, заверено свидетелями и печатью храма и хранится в недосягаемом для вас, но лишь для меня и для короля Галлии месте. Я – первородный отпрыск мужеского пола короля Лира Британского и, за неимением других наследников того же пола и благородной крови, – единственный законный его преемник.

Теперь вы понимаете, сударыня, почему Галла так мало заинтересовала утраченная вами часть королевства? у него под рукою уже был человек, который после акта отречения вашего (и своего) отца мог считаться королём всея Британии и притязать на тройной венец с большими правами, чем какая-либо особа вашего пола. Сообщу кстати, что и после этого повелитель Галлии, весьма обрадованный результатами наших изысканий, тайно продолжал расследование любовных связей Лира Британского; в течение месяца 14 молодых людей и девушке, согласно показаниям их матерей под самой страшной клятвой и с готовностью на суд божий посредством калёного железа, огня и воды, а также 29 подростков обоего пола, чьи матери не решились дать подобные гарантии, выявлено и зафиксировано нашими службами. Если герцог Альбанский или ваши сёстры собираются претендовать на Британскую корону, у них найдётся немало соперников, но старший из них – я.

Вот так обстояли дела к тому времени, как Лир отрёкся от престола, я был официально усыновлён Гластером и принят ко двору, а вы, сударыня, стали королевой Галлии не только

как дочь отрекшегося британского монарха, но и, не ведая о том, как единокровная сестра законного монарха сей страны. Но мне ещё предстояло занять положение, которое оказалось бы достаточной основой для дальнейших притязаний в самой Британии. Мой так называемый брат Эдгар попал в немилость у своего отца и бежал (ходят слухи, что он помешался, ходят и другие, не более опасные для меня). Мой так называемый отец, этот ослеплённый самомнением и убеждённостию в собственной неотразимости рогоносец, был и самым буквальным образом ослеплён по приказу герцога Корнуэльльского и вашей сестры Реганы. Эта последняя вступила в сговор с Гонерильей и добилась сначала сокращения дружины короля-отца, затем – свиты, а затем и его безумия. Одновременно обе сестры, сами не ведая о том, воспылали кровосмесительной страстью к своему и вашему брату; рад сообщить вам, что герцог Корнуэлл скончался не от царапины мечом (этот челядинец моего «отца», ранивший герцога, мне хорошо знаком – ему больше восьмидесяти лет и он хилого сложения от природы), а от тщательного ухода своей супруги. Я не удивлюсь, если ко времени получения вами этого письма за герцогом последует ещё кто-нибудь из наших родственником и свойственников. Мне не жаль никого из них – слишком много отнято было у меня с детства Глостером, Эдгаром, всеми этими герцогами и принцессами крови, и прежде всего – моим отцом, сидящим сейчас и раскачивающимся в такт чтению...

Мне жаль только вас, сударыня. Потому что чувство, диктовавшее те объяснения из Галлии и не имевшее, как вы убедились на месте их написания, ни малейшего отношения к тамошнему монарху, – чувство это, наперекор крови, до сих пор живо в моём сердце – сердце генерала Британской Союзной Армии, герцога Гластерского, тайного пэра Франции и грядущего короля Британии, Эдмунда I, сына Лира! Я хочу спасти вас, спасти вас, спасти – и не дать погубить себя. Я не собираюсь позволить себе ничего дурного, что мог бы осуществить человек, имеющий сейчас столько власти над вами и столько грехов на совести – вы моя сестра и моя королева, королева Галлии.

Ведь это я вызвал депешей вашего супруга – одновременно с тем вестником, который вручил призыв о помощи от Кента или, как полагают некоторые, Эдгара, вам. Это я встретил его в Довере, загнав трёх коней по дороге туда и трёх – по дороге назад, в ставку Союзнической Армии. Это я предложил королю Галлии срочно отбыть назад в связи с беспорядками на юге и сведениями о тайном сговоре между Ромулом Римским и герцогом Бургундским – и он ушёл, оставив несколько сот лучших своих ратников под команду недоумевающей супруги. Это я, наконец, поднял забрало среди боя, чтобы вы увидели

моё лицо и прочли всё написанное на нём = и вы прочли, могу поклясться, потому и стали, рухнув без чувств, столь лёгкой добычей моих гвардейцев. И это я, в тот же момент, успел поймать тот ответный ваш взор, который никогда не смогу доказать перед людьми, но который видели боги; если бы не чувство, таившееся в нём, вы не попали бы в плен, если бы не это чувство, вы не читали бы сейчас этот длинный свиток, если бы не оно – мой воин, ожидающий сейчас у тюремных дверей, уже прикончил бы и вас, и вашего отца без суда и следствия, из алчной преданности своему генералу (который не худшим образом – вы не можете не признать этого – проявил себя сегодня в сражении).

Венера свидетельница словам моим – Юпитер свидетель, что последующие слова говорит вам уже не лживый и доведённый судьбою до подлости и хитрости байстриук Глостера, а ваш брат, честный рыцарь и грядущий король. Верьте им.

Итак: я предлагаю вам вернуться к вашему супругу или представлять его интересы в Британии при моём дворе; последнее менее желательно как потому, что противно всем обычаям королевских браков, так и потому, что мне – а вы знаете, что и не мне одному, – такое соседство будет мучительно. Итак, вы снова займёте престол Галлии; герцогство Корнуэльское лишится владельца бездетного и переходит к короне как выморочное; герцогство Альбанское лишится своего не позже завтрашнего рассвета; обе вдовы, ваши сёстры, перегрызут друг другу горло – полагаю, что у вас достаточно уже оснований не сомневаться в этом. Ваш супруг, возвратившись со всею военною силою, признает главу британской армии, Эдмунда сына Лира, законным монархом этой страны; я коронуюсь официально, британско-галльский союз скуёт весь Запад в единую неодолимую цепь. Мы с вашим супругом раздавим Бургундию; мы раздавим франков, Этрурию, Иберию; Рим станет нашим союзником, а если Ромул задумает воспрепятствовать этому, то будет раздавлен и он. Что касается нашего злосчастного отца, то ему будет обеспечено надлежащее содержание – я не желаю больше мстить, я не убийца более, но воин и король. Он будет жить где-нибудь в моих владениях со всеми удобствами, окружённый почестями, какие возможно оказать отрекшемуся и недееспособному монарху-безумцу. Вот один вариант, предлагаемый мною на ваше усмотрение.

Второй бесконечно горше для нас обоих – но вы понимаете, что этого послания не должен увидеть никто. Вы погибнете, даже если это будет стоить мне дружбы с королём Галлии (хотя едва ли он пойдёт на войну с Британским Союзом или со мною теперь, после того как я разбил его отряды одним ударом моей гвардии, как в равном поединке, пока основные силы Альбанца и Реганы стояли поодаль, с мечами в ножнах). Есте-

ственно, что в этом случае по вашим стопам отправится и отец – к нему я не питаю больше ничего, кроме презрения, но он – помеха на моём пути; впрочем, если Лир признает меня своим сыном и наследником, у него появится шанс на спасение, но подобное признание в подобных устах может скорее повредить мне и уж во всяком случае не найдёт поддержки ни у Альбанца, ни у ваших сестёр или тех из них, кто останется в живых к тому времени. Нет, за жизнь Лира я в нынешнем положении ругаться не могу.

В нынешнем? Нет-нет – вы ещё читаете этот свиток, вы ещё можете изменить его, вернуть себе престол, отцу – почёт, мне... я ничего не прошу у вас. Но послушайте моего совета, заклинаю вас! Я не хочу вашей гибели, тем более – от руки этого пса, который ждёт у дверей вашего решения. Если вы передадите ему эту грамоту, начертав на ней – ДА, и отошлёте ко мне назад – вы спасены, а я счастлив. Если моё предложение неприемлемо, если вам не жаль ни себя, ни отца, – о вашем муже или о вашем несчастном, как ни смешно это звучит, брате я не говорю, – то уничтожьте письмо, дабы оно не обесчестило наш род в глазах всех, кому попадётся в руки, и постарайтесь... постарайтесь... о Юпитер Британский, постарайтесь хотя бы, чтобы ваша кровь не обагрила недостойных рук этого сторожевого пса! Всё необходимое лежит под соломой в углу камеры... кинжал и верёвка... Но будьте благоразумны, ради всех богов, будьте благоразумны, возлюбленная моя!.. сестра.

Эдмунд, сын Лира Британского.

СМЕРТЬ СТАРОГО ПЛОТНИКА

Плотник Иосиф из Назарета совсем состарился. Ему было уже трудно работать, но так как он не знал притчи о птицах небесных и о лилиях, которые не прядут, то полагал, что кто не работает, тот не ест (в своё время он заявил об этом одному молодому человеку из Тарса), и продолжал заниматься своим ремеслом. Впрочем, Иосифу помогали два его сына: Иаков-фарисей и Иуда-саддукей. Иаков был хорошим плотником, человеком благочестивым и очень строгих правил: он редко ходил в баню, по субботам работал только одной рукою и ведро у колодца привязывал не верёвкой, а поясом. Второй же сын Иосифа, Иуда, немного подсмеивался над братом, хотя на людях соблюдал все приличия. После бегства в Египет Иуда задержался там, получил в Александрии хорошее образование и не верил ни в ангелов, ни в чертей, ни в воскресение во плоти, зато читал Пифагора и Аристотеля. Вернувшись в Назарет, он зарабатывал писанием прошений к наместнику по-латыни, и зарабатывал хорошо

– Мария, – сказал как-то плотник Иосиф своей жене, Пресвятой Богородице, – ты помнишь Симеона, друга моего отца, который никак не мог умереть? Я устал почти так же, хотя и моложе его, и мне всего сто десять лет. Я хочу пойти в Иерусалим, посетить Соломонов Храм и попросить у Господа Бога разрешения умереть.

– Тебе трудно будет в пути, – возразила Дева Мария, – такая длинная дорога тяжела для твоих ног, мой обручник (она никогда не называла его мужем, кроме как на людях).

– В крайнем случае я умру по дороге – мне уже всё равно, – ответил Иосиф. Мария собрала ему котомку, и он отправился в путь.

Два месяца он не появлялся, и домашние очень волновались. Наконец, Иосиф вернулся спокойный и радостный, но он действительно очень устал и сразу лёг в постель, а Пресвятая Богородица и сыновья собрались возле него.

– Ты достиг Иерусалима? – спросил Иаков. – Ты видел Храм?

Самому ему давно хотелось увидеть Храм, но всё не доводилось.

– Да, – ответил Иосиф, – я пришёл к Храму, прошёл мимо менял и торговцев на паперти и простёрся ниц. Я молился и вопрошал Господа очень долго, но Господь был занят и не ответил мне. А когда я уже вышел на улицу, передо мною предстал кра-

сивый молодой человек в золотых латах и сказал: «Здравствуй, Иосиф, я архангел Михаил. Извини, что задержал тебя. Сейчас у Господа нашего очень много дел, а предстоит ещё больше, так что мы совсем о тебе забыли. Конечно, ты можешь умереть, если хочешь, а если не хочешь, то поживи ещё». – «Я очень устал, – ответил я, – так что лучше уж умру, но только, если можно, у себя в Назарете». – «Пожалуйста», – молвил архангел и исчез. И вот я здесь.

– Ты удостоился великой чести, – сказал Иаков, которому всегда было обидно, что Пресвятая Дева видела Архангела при Благовещении наяву, а отец – только несколько раз во сне. Теперь он надеялся и сам удостоиться такой встречи, тем более что считал себя не менее праведным, чем отец, а Писание знал гораздо лучше.

– Я не уверен, что это был ангел, – заметил Иуда, который, как и все саддукеи, был либералом и вольнодумцем, – может статься, это просто оказался гарнизонный офицер, или тебе показалось. Но, как бы то ни было, ты видели слышал его, а это главное.

– Да, – кивнул Иосиф прежде, чем старший сын и Дева Мария стали бранить Иуду, – это главное. Теперь я скоро умру, и мне надо сделать некоторые распоряжения. За тебя, Иуда, я не беспокоюсь, потому что у тебя есть огород и ты владеешь несколькими языками. Мастерскую я оставлю Иакову, потому что он старший и ещё потому, что он хороший плотник, так что даже в Иерусалиме, когда узнали, чей я отец, ему прислали заказ из дворца как лучшему краснодеревщику: сделай три кресла и ложе для молодого царя Ирода – или для его придворных, ибо даже сам царь не может сидеть на трёх креслах сразу.

– А как быть с заказом наместника на партию крестов? – спросил Иаков. – Впрочем, Иуда договорится об отсрочке, а я никогда не любил такую работу.

Тут Пресвятая Богородица подняла голову и спросила Иосифа:

– А не встречал ли ты нашего Иисуса? Говорят, он сейчас как раз в Иерусалиме.

– Да, – ответил Иосиф и покраснел, – видел я твоего Иисуса. Он бродит по городу во главе кучки рыбаков, конторщиков, сапожников и каких-то совсем уж тёмных личностей, занимается медициной, что само по себе хорошо, однако рассказывает какие-то странные вещи, которые, видимо, слышал от покойного Иоанна, и его приятели славят его как Сына Божия. Я подошёл к нему, чтобы предостеречь от таких речей, и сказал: «Здравствуй, Иисус, привет тебе от матери и братьев»; но он взглянул на своих друзей и подруг и заявил: «Вот мои братья и сёстры». Тогда я не стал растолковывать этим людям (которые очень обрадовались его словам), что я его отец, предви-

дя, что мне на это ответят, и только вздохнул: «Ох, Иисус, кончишь ты так же, как Иоанн, если и дальше пойдёшь по это дорожке». Тогда его друзья и пациенты закричали на меня, а он спросил: «Что есть конец?» Я махнул рукой и ответил: «Ну, Бог с тобой», что очень всем понравилось, и пошёл в Храм молиться. Честно говоря, Мария, мне не нравятся все эти слухи о нём – не ты ли их пустила? И ещё больше не нравится, что он нас знать не хочет.

– Ты не прав, отец, – возразил Иаков-фарисей. – Ты же помнишь, что Гавриил-архангел сказал нашей мачехе про Иисуса: «Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, и Царству Его не будет конца». Ведь ты же веришь Марии, не могла она это придумать. А потом ему поклонились пастухи и волхвы, и новая звезда зажглась, а это не каждый день бывает. Ты говоришь, что он предпочёл своих новых друзей нам – так надо и нам стать его друзьями. Ибо это очень хорошо, что он снискал такой успех в столице, и все его признали; он свергнет царя Ирода, воссядет на престол Иудейский и, если господь не отступится от него, прогонит римских захватчиков и всех подлых язычников из земли Израиля. И царству его не будет конца, а когда он умрёт, то, наверное, воцарится его сын – ведь должен у Царя Иудейского быть сын! – и станет властвовать столь же праведно и грозно. Подобно Маккавею, он вновь сокрушит язычников. Ему поможет весь честный народ и ангелы Господни, а по воскресении во плоти Его первые сподвижники воссядут одесную от Него в раю. Поэтому нам следует отправиться в Иерусалим и поклониться Ему, как Сыну Всевышнего (это, конечно, может быть и иносказанием, но я могу указать в Писании много мест, где есть намёки на нечто подобное) и Освободителю Иудеи, подобно Моисею и Навину.

– А когда ты будешь делать кресла? – спросил Иосиф-плотник, считавший, что каждый всё-таки должен делать своё дело, но Иуда-саддукей перебил его:

– Безусловно, – сказал он, – отец ошибается, но и ты, Иаков, не менее того. Во-первых, не следует всё время ссылаться на Благовещанье, потому что Гавриил (или Гермес, как его называют эллины) сказал, я думаю, не совсем то, что запомнила Мария. Я не думаю, что из фразы «Он наречётся Сыном Всевышнего» так уж неопровержимо следует, что он и есть сын Всевышнего. Во-вторых, престол Давида – это очень хорошо, но я уже не раз говорил тебе, брат, и тебе, отец, что совершенно нелепа эта ортодоксальная точка зрения на наш народ, как на избранный Богом. События последних столетий, начиная от Александра Македонского и кончая Кесарем, наглядно показали, что Господь весьма благосклонен и к другим народам, особенно эллинам и римлянам.

Чушь! – воскликнул, покраснев, правоверный Иаков. – Они же язычники и не чтут Господа.

– Они чтут Его под другими именами, – отмахнулся Иуда, – а что этих имён много – и Юпитер, и Аполлон, и даже Афина – это не показательно, потому что ты сам говорил мне, сколь много имён у Всевышнего только в Талмуде, написанном достаточно бездарными комментаторами Писания. Можно ли удивляться, что не меньше имён разыскали цивилизованные эллины? А что они чтут Воплощения Господни в идолах, это, конечно, нехорошо, но тоже может быть понято символично и иносказательно, как любишь ты сам, Иаков. Но вернёмся к Иисусу. По-моему, всё же пророчество Деве Марии можно понять недвусмысленно. Иисус наречётся Сыном Всевышнего – чего уж яснее: он станет римским Кесарем, которые только так и зовут себя. И поверь мне, Иаков, что Иисус будет властвовать не только над нашим маленьким, хотя и достойным и гордым народом, но надо всем миром, так сказать, надо всем Орбис Романа, что гораздо важнее. Тогда Царствию Его действительно не будет конца, по крайней мере насколько мы можем судить об этом сейчас: не галлы же и не эфиопы сокрушат Империю! О воскресении во плоти я судить не берусь, но готов согласиться, сто Иисус, став Кесарем, откроет всему миру тот Золотой Век, что предвещан Исаией, Даниилом, Захарией, царём Давилом и Четвёртой эклогой Вергилия.

– Еретик и изувер! – воскликнул Иаков-фарисей, пылая благочестивым гневом. – Как ты можешь приравнять языческие книжки и Пророчествам?

– Дух Божий может сойти и на язычника, ежели тот соблюдает одно «да» и шесть «нет»; кстати, а ты эти книжки читал? – ехидно спросил Иуда, но старший брат и слушать не желал:

– Недаром ты в своё время не желал делить огород с Иисусом, так что я уступил несколько своих делянок!

– Так Ему же будет принадлежать всё царство! – возразил Иуда. – Я же не отрицаю этого, я нимало не сомневаюсь, что и Первосвященник Каиафа, как человек разумный и истинный саддукей, поддержит Иисуса. А потому, что бы ты ни говорил об изгнании язычников и воскресении во плоти, ты прав в одном: мы должны немедленно пойти в Иерусалим и поклониться Иисусу, ибо будущее за Ним и Его сторонниками. Заказы же царя Ирода вполне могут подождать, тем более что он скоро будет низложен.

Иаков ещё что-то ворчал, но уже готов был примириться с братом, понимая, что отец (на которого они в разгаре спора и не оглядывались) скорее отпустит их в Иерусалим вместе; о том, чтобы поступить против воли отца даже после его смерти, кото-

рую обещал Михаил-архангел, праведный Иаков и подумать не мог. Итак, они пошли на мировую.

Но в это время поднялась Пресвятая Богородица и промолвила грустно:

– Ах, если бы всё это было только так! Но я и правда рассказала вам не всё, что открыл мне Гавриил-архангел в час Благовещения. Бросьте все эти споры: ведь нашего Иисуса, перед Царствием, ещё должны распять. Я просто не хотела огорчать вас и отца...

Но плотник Иосиф уже не слышал этого: пока сыновья спорили и том, кто такой Иисус Христос, он тихо умер, и ангелы (если Иуда ошибался и они всё-таки существуют) приняли его честную душу.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Апокриф в пяти монологах разных лиц

1. ПАТРИОТИЗМ

Рассказывает Авимелех бен Иосиф, член подпольной национальной организации зилотов-террористов

Почему наша акция не удалась и окончилась так плачевно – ума не приложу! Все было расчислено по минутам. С молчаливого согласия Синедриона мы добрались до резиденции, старого дворца Ирода Великого – я, Дисмас, Гестас и сам Варавва. Кинжалы были спрятаны под платьем, прошение, которое должен был подать сам Варавва перед ударом, – у него в руках, запечатанное, одеты мы были безукоризненно, и каждый шаг, отработанный еще за неделю до того дня, незримо напоминал нам Вараввой. Этот человек мог глазами управлять людьми, как мерзкий римский кукольник руками заставляет двигаться марионеток.

Худой и невысокий, особенно рядом с великаном Дисмасом, он ничем не привлекал внимания и не вызывал подозрений. Едва ли двадцать человек в городе знали Варавву в лицо, но слава его гремела по всему Иерусалиму и расплескивалась на половину Иудеи; слава, может быть, преувеличенная, но это и заставляло Варавву идти все дальше и дальше. Так бывает со всеми героями, как я понял за мою неожиданно долгую жизнь. Римляне, пообещав за его голову три тысячи динариев, тоже немало способствовали этому.

В тот день Варавва, разумеется, не обязан был идти с нами: ни организация, ни (опять же молчаливо) Кайафа не собирались подвергать его такой опасности. Вы поймите, Варавва же был гением, человеком незаменимым, вождем и героем – но, как бы это сказать, слишком уж героем: он не пожелал отказаться от столь дерзкой затеи. Впрочем, в тот час мы все были спокойны, зная, что и здесь он сумеет уцелеть. Ему уже не раз удавалось уходить из самой хитрой западни, поставленной римской охранкой, и даже из темницы (теперь его побег стал легендой, которую приписывают уже другим...) А что до нас троих, знали мы, то невелика потеря, если кто и погибнет, – Движению это не повредит, лишь появится новый зилот-мученик.

Вообще в те годы в народе нарастала потребность в мученике, как и потребность в герое, само собой. Меня лично это очень беспокоило: народ, жаждущий мученика, на практике ни-

чего не сможет сделать, казалось тогда. Теперь я не так уверен в этом, но почему – этого объяснить не имею права. Но Варавва был героем, а это главное.

Первое оцепление вокруг дворца пропустило нас беспрепятственно; второе остановило, заявив, что прокуратор занят допросом по важному делу. Я догадывался, что речь идет о том проповеднике, который в начале недели прибыл в город и был радушно принят вместе со своими учениками – пока не на стал вести еретические речи, закончив их призывом к уничтожению Храма. Дело его уже было рассмотрено Синедрионом, направлено к тетрарху, а оттуда – прокуратору: на разрушение Храма этот римский генерал сам бы с радостью дал добро, но тот проповедник назвался (или его назвали) Царем иудейским, а это уже рассматривалось как бунт против империи.

Мы пытались установить связь с этим Иисусом: сам Варавва беседовал с одним из его учеников, бывшим нашим товарищем Симоном. Вернулся Варавва тогда мрачный, скрывая раздражение за деланной веселостью, и сказал:

– Этот Иисус просто безумец. Он считает себя, ни больше, ни меньше, как мессией – во всяком случае в этом убеждены его ученики. Симона он у нас увел – для Движения этот человек потерян. Но самое скверное, что этот проповедник, видимо, говорит так складно, что того и гляди наберет кучу последователей, а они не в праве обнажать оружие и бороться, как должен бороться сейчас каждый. К тому же он врач и буквально вырвал из рук смерти Лазаря, брата моей Марфы. Он не враг нам, но опасен.

Последние слова были в сущности приговором галилеянину: когда же он призвал к разрушению Храма (меня при этом не было, но мне рассказали), Синедрион перехватит его у нас – кинжал сочли слишком мягкой карою за такое богохульство. Кайафа всегда был строг, я хорошо знал его и тогда и после, когда скрывался при Храме.

И вот теперь этот краснобай болтал перед прокуратором, да так, что тот даже отдал приказ никого не принимать, хотя через несколько дней ему нужно было отбыть в Кесарию. Мы присели и решили подождать – сила Организации не в немедленном принятии мер, а в их неотвратимости. Центуриону, демонстративно отказавшемуся снять орла со своего щита, мы позволили гулять целую неделю: потом он встретился с Вараввой, и это оказалось последней его встречей с кем-либо, кроме грешников Шеола. А уж ради самого прокуратора Иудеи стоило помешкать. Мы опустили капюшоны на всякий случай – и стали ждать. Рядом с нами сидели в ожидании и другие посетители: рыжебородый рыбак с Севера и мальчик лет шестнадцати, оба из учеников того самозванца. Нас они, разумеется, в лицо не знали, а у Организации глаза и уши повсюду.

Внезапно к нам подошел римский центурион Лонгин из девятой когорты и приказал убираться. За его спиной мы увидели, как из дворца выходит сам прокуратор – один, суровый, с каменным лицом и словно бы в глубокой задумчивости. Он жестом остановил Центуриона и спросил рассеянно, кто мы.

– Просители, – буркнул Лонгин, и взгляд прокуратора стал еще брезгливее.

– Пожалуй, сегодня я выслушаю их, – промолвил он неожиданно. – Вообще, Лонгин, сегодня очень странный день. Ты не находишь?

Вдруг он резко крикнул:

– Шапки долой! Я хочу видеть лица!

Мы неторопливо откинули капюшоны, Варавва чуть замешкался: он прикидывал, успеет ли в три прыжка очутиться около своей жертвы. Центурион грубо рванул с него капюшон. Варавва, вообще-то вспыльчивый и горячий, на этот раз сдержался и только взглянул на Лонгина, но я ручаюсь, что этого взгляда он не забудет до самой смерти. Едва лишь Варавва протянул прокуратору свиток, центурион перехватил «прошение» из его рук и сам передал его тому, не позволив приблизиться. Вот тут-то Варавва и метнулся, как горный барс; кинжал его скользнул по щеке Лонгина, так что тот отшатнулся, и достал прокуратора.

Мы в это время отбивались от подоспевшей стражи и только слышали скрежет железа о железо. В следующее мгновение прокуратор уже схватил Варавву за запястье и вывернул ему руку, все еще сжимавшую кинжал.

– Взять! – крикнул он и задумчиво добавил: – Жаль, что этот философ не видит, как полезно в этой поганой стране носить кольчугу под плащом.

Не знаю, что это означало, – меня уже перебросило через ограду, и я бежал сломя голову, слыша лишь грохот сапог за спиной. Свернув в подворотню, я оторвался от погони и поплелся к своим – рассказать о провале. У меня была рассечена клинком рука, кровь никак не унималась, но я думал только об одном, спасся ли Варавва. Через час стало известно, что нет: он был схвачен вместе с двумя остальными.

Надо было немедленно спасти его, и я с руководителем своей десятки направился к Кайафе. Тогда в силу некой случайности, которая, как я понимаю, вас больше всего и интересует, первосвященник не достиг своей цели – нашей общей цели, но я благодарен ему за многое, я обязан ему жизнью и не собираюсь говорить о нем дурно, да и вообще не желаю больше говорить об этом. Но я верю, что настанет день, когда имя Вараввы будут произносить как имя одного из величайших наших героев... несмотря на ту неудачу. И настанет день, когда моя священная Родина будет свободна! А теперь, если вы агент

римской охранки, идите и донесите на меня. Посмотрим, сможете ли вы что-нибудь сделать. Это говорю вам я, Авимелех Неуловимый!

2. ПРАВОСУДИЕ

Рассказывает Понтий Пилат, римский всадник, бывший прокуратор провинций Сирии и Иудеи

Для меня было некоторой неожиданностью оказаться в роли Юлия Цезаря, однако, словно в насмешку, все совпадало: прошение в одной руке, кинжал в другой, даже Иды марта только что кончились. Я оказался предусмотрительней: еще с первых лет этой службы в этой неистовой стране я стал носить гибкий полудоспех, так что отделался благополучно – даже не «легким испугом», потому что за тридцать лет до этого отучил себя от страха, и это бесстрастное бесстрашие еще с Рейнского похода почитается всеми за мужество и доблесть. Но доблесть – это присутствие чего-то, трудно поддающегося определению словами (смелость? честь? самоуверенность? самоотверженность? или все это сразу и что-то еще?), а бесстрашие – всего лишь отсутствие страха. Доблесть альтруистична, бесстрашие (и тем более бесстрашие) предельно эгоистичны; к счастью, этого почти никто не понимает, даже сейчас, когда я сам делаюсь все более склонен к философским беседам...

Нет, пожалуй, один человек понимал это – странный и нелепый человек странной и нелепой судьбы, которую боги щедро отмеряют той проклятой провинции, где я служил и куда невольно возвращаются мои мысли теперь. Мне кажется, будто только сегодня этот человек рассказывал мне притчу (во время допроса! Одно это чего-то да стоит!) о старых мехах и молодом вине. Рим скоро достигнет девятисотлетия, но в таких краях, как Египет, Сирия, эта проклятая Иудея или даже Эллада, римлянин до сих пор чувствует себя мальчишкой – как только получит досуг от того, чтобы чувствовать себя солдатом. Служить в дикой Британии, несомненно, легче: чего стоят холод и враждебные племена, если чувствуешь и знаешь, насколько ты, римлянин, выше этого сброда, этих бородатых младенцев. А там, в Иерусалиме... Подавляет уже сам дворец Ирода Великого – это чудовищное сращение Востока и Запада; подавляет храм, золотым гребнем осеняющий город; сам город, душный и грязный город фанатиков и безумцев (в тот день я успел столкнуться и с теми, и с другими).

Первым ко мне привели безумца: за ним числилось подстрекательство к разрушению храма и посягательство на царский титул. Это последнее обстоятельство и вынудило Синедрион и тетрарха направить его ко мне. То был, как я вижу ныне,

второй в моей жизни случай (после паники в Рейнском лагере), убедивший меня в том, что болезнь душевная может быть почти столь же заразной, сколь и физическая.

Оба эти обвинения Иисус опроверг быстро, хотя и не слишком убедительно: разрушение храма ради воздвижения нового – метафора, а «царство» его якобы «не от мира сего». Я сделал ему замечание по поводу злоупотребления метафорами; он пожал плечами (насколько позволяли связанные за спиною руки) и сказал:

– Людям так понятнее.

– Ты слишком высоко оцениваешь людей, философ из Назарета, – ответит я, – не эти ли люди и выдали тебя.

– Это не их вина, а их беда, – печально промолвил он. – Я постараюсь, чтобы это простилось им.

– Забавно, – заметил я. – Собственно говоря, сейчас тебе самому нужно прощение.

– Бог простит, Игемон, – возразил он.

– Пока решение еще в моей власти, – напомнил я ему.

– Это тебе так кажется, – спокойно ответил галилеянин. – Все в руках Господних, и нет суда, кроме Его суда, ибо лишь он знает Истину.

– А что есть истина? – спросил я его с улыбкой, но втайне удивляясь самому себе.

Он промолчал; я полистал его досье еще раз, чтобы убедиться, что имею дело с больным. Человек, приставленный к этому несчастному, некий Иуда Искарот, в своих донесениях подробно излагал речи своего «учителя», оказавшегося не более чем очередным «мессией», то есть спасителем своего народа божьей милостью. Таких дел на моей памяти проходило уже три. Один подследственный оказался помешанным, другой – агентом террористической организации зилотов, а третий просто надеялся обогатиться на этом скользком поприще. Двух последних я осудил на смерть, а первого определил, разумеется под присмотром, на строительство дорог. Но этот «спаситель», судя по конспектам его проповедей, был иного склада.

Изложить сейчас суть его учения я не берусь – старею, и память подводит меня; во всяком случае, это было учение совершенно безобидное, отрицавшее (как я с удовольствием заметил) какой-либо бунт и рассчитанное скорее на детей и рабов, нежели на взрослых и здравомыслящих римских подданных. Наивность в нем сочеталась с элементами мистики и довольно темным и двусмысленным языком, вплоть до таких примитивных аргументов, как ссылки на свое божественное происхождение. Ученики его были преимущественно людьми необразованными и незначительными: рыбаки, крестьяне, проститутка, даже один сборщик податей (не наш, имперский, а местный, храмовый). Мне было приятно узнать, что этому безобидному «пророку»

удалось втянуть в свое мирное учение даже одного зилота. Коротко говоря, если Синедриону Иисус и казался опасным, то мне, представителю власти Кесаря, – нимало... если бы не один пункт: «Царь Иудейский», связанный действительно с его происхождением по матери от кого-то из местных древних царей. Это было уже серьезнее.

Ознакомившись с документами, я сам побеседовал с подследственным – и вот тут-то почувствовал то странное, необъяснимое обаяние этого человека и его наивных речей. Дабы все было совершенно по форме, я учинил допрос с пристрастием, который ничего не дал, но лишь укрепил мою уверенность в невиновности этого бедняги. Мне пришлось дать ему вина с водою – после бичевания он еле держался на ногах.

– Я простой старый солдат, – сказал я наконец, отложив дело, – мне сложно разбирать твои притчи, да еще по-арамейски. Эти толстые левиты из Синедриона могли бы хотя бы приложить латинский перевод. Скажи мне в двух словах: чему ты учишь?

Тот помедлил:

– ВЕРЕ... в Бога и Человека, НАДЕЖДЕ на спасение даже для потерявших надежду, и ЛЮБВИ – тоже и к Богу, и к людям, ближним и дальним, друзьям и врагам. Тебе трудно понять это сразу, игемон: из-за возвращенного тобою в себе бесстрастия ты неспособен ни на любовь, ни на ненависть. Но ты еще можешь научиться, еще не поздно, и тогда я или ты сам ответишь на свой вопрос об Истине.

– Не думаешь ли ты, что я стану учиться у тебя, государственного преступника? – резко оборвал я его.

– Нет, ответил галилеянин, – но, может быть, ты сможешь научиться у себя самого. Правда, тогда тебе придется отказаться от бесстрастия – самого дорогого, что у тебя есть, по-твоему.

– Хватит, – сказал я, – ступай. Уведите его!

– До свидания, – вежливо попрощался тот, глядя мне в глаза. – Быть может, мы еще встретимся, если...

Я сделал знак солдатам отправить его в следственную тюрьму. Приговор надлежало вынести на следующий день, но слова странного преступника преследовали меня, даже когда я вышел из чудовищного дворца Ирода, чтобы размяться, и на меня бросились террористы.

Железо под одеждой спасло меня, несмотря на необъяснимую рассеянность, овладевшую мною так невовремя. Центуриону охраны пропороли щеку, один из бандитов скрылся, трое были схвачены; я с изумлением узнал, что один из них, самый хилый и невзрачный, чем-то даже схожий с моим недавним собеседником, – сам знаменитый Варавва, «опаснейший человек в Иудее для Кесарского порядка», чью голову оценили (я сам подписывал эту бумагу) в три тысячи. Это была большая удача.

Допрос, уже с новыми участниками, был возобновлен, но так ничего и не дал: Варавва и его головорезы под бичами не выдали ничего. Я тоже отправил их в тюрьму; теперь можно было считать, одна голова – и из главных – у зилотской гидры уже отрублена, оставалось только прижечь, прижечь ее завтра факелом на лобном месте. Когда Варавву уводили, он бросил через плечо охрипшим от боли и ярости голосом:

– Берегись, прокуратор, я у тебя в руках, но это опасная игрушка!

Я задумался; в сущности он был прав: публичная казнь его могла вызвать в городе волнения, я хорошо знал, что у Иисуса из Назарета было еще слишком мало учеников, а Варавва – кумир вольнодумцев и националистов.

В это время мне доложили о визите первосвященника и председателя Синедриона Кайафы; я вспомнил, что на днях предстоит их варварский праздник, при котором согласно обычаю одному из осужденных на смерть накануне даровалось помилование. Кайафа был хитрой лисой, я ожидал, что он начнет с прошения за Иисуса, которое я с удовольствием удовлетворил бы, но тот без околичностей потребовал помилования для Вараввы. Я мягко объяснил ему, почему не могу допустить подобного; первосвященник настаивал, а его люди под окнами дворца скандировали:

– Смерть Иисусу! Свободу Варавве! Смерть лжепророку! Свободу патриоту!

Оба требования для меня были неприятны – почти неприемлемы, но нарушение обычая, санкционированного самим Кесарем, могло привести к еще худшим последствиям. Я оказался меж двух огней, и мне казалось, не знаю почему, что от решения вопроса зависит нечто большее, нежели моя карьера или даже мятеж в городе; я медлил, а Кайафа, тяжелый и чернорабочий, гулко и немногословно настаивал на своем. С тайным удивлением я заметил, что мою нерешительность вызывает не столько необходимость уничтожения Вараввы – это, как я уже говорил, могло оказаться слишком опасным, – сколько желание спасти странного, жалкого пророка, так и не ответившего на мой вопрос об истине (но во мне росла уверенность, что он знает этот ответ).

Мое промедление компрометировало репутацию бесстрастного и твердого прокуратора, но все же я колебался, постукивая по инкрустированному Иродову столу своим золотым кольцом римского всадника. Досада моя за весь этот сумбурный день обратилась на Кайафу и на миг оттеснила неуместную симпатию к одному из преступников. Властным, отработанным за многие годы жестом я прервал гудение первосвященника и произнес с каким-то железным лязгом:

– Хорошо, ваш варварский обычай будет исполнен: самозванца из Назарета казнят. Но если вы ждете амнистии своему Варавве, то вынужден вас разочаровать – это невозможно (тут я швырнул в бороду Кайафе первый попавшийся под руку пергамент с распоряжениями консула), но помиловать его я готов. Смертную казнь, которую он заслужил, я заменяю пожизненным заточением, сперва здесь, в Иерусалиме, потом в Кесарийской цитадели.

– Это не по-римски, – нагло заявил Кайафа.

– Я римлянин, и мне виднее, – отвечивал я тем же тоном. – Заточение – мера варварская, но только ваш же варварский обычай принуждает меня прибегнуть к ней.

Как ни странно, Кайафа больше не возражал и удалился, лишь коснувшись толстыми пальцами моей руки, как руки сообщника. Судьбы обоих, думал я, почти автоматически смывая невидимый след его руки под рукомойником, решены: философ обречен на распятие, террорист – на еще более медленную смерть в подземелье в Кесари. И все же... все же у меня было тяжело на сердце. Я чувствовал, что едва ли мне еще раз доведется встретить человека, который ответил бы мне, что есть истина, – и есть ли она вообще, и которому я поверил бы... С тех пор миновало уже двадцать лет, судьба сталкивала меня со многим и со многими, но, похоже, то предчувствие было верным...

3. ЛЮБОВЬ

Рассказывает Марфа, сестра Лазаря-гробовщика

Ай, какая это была нехорошая неделя! Прости меня, Господи, это была святая пасхальная неделя, но три смерти – вы представьте себе! И все такие люди, такие люди! Ну да, брат наш Лазарь был маленький человек, но честный и работающий – что бы мы без него делали? Он был гробовщиком. И все в Иерусалиме его очень хвалили, а мы с сестрой Марией шили погребальные одежды. И вот за неделю до Пасхи он в одночасье умер – не болел перед этим, ничего! Да и умер как-то странно: лег и не двигается, словно в параличе, и сердце не бьется, а теплый. Два дня мы спрашивали у ребе: «Жив ли брат наш Лазарь или нужно его хоронить?», – и ребе сказал: «Хороните». Мы выбрали лучший гроб из тех, которые он оставил, сшили прекрасный саван, обрядили и сели в трауре оплакивать. Как, думаем, без него жить будем? Ну мой Варавва прислал своего человека – Авимелехом звали, молодой такой, горячий, он потом у первосвященника служил. Он и передал: «Не бойся, мол, милая моя Марфа, Варавва тебя голодать не оставит», – и сует мне деньги.

Ну я обиделась очень и на «милую» и вообще,хватила этого мальчишку по физиономии:

– И жив был брат – мне ничего от Вараввы не нужно было, кроме любви, а умер Лазарь – так что ж – откупиться надумал? Грех сейчас говорить, но ведь, по совести, теперь-то он должен обручиться со мною, Лазарь-то, прости мне Господь, возражать больше не станет! Авимелех ушел, потирая свою щеку красную – Я ведь женщина здоровая, слава Богу. А ночью сам Варавва в оконце мне стукнул. Я выхожу, а он меня на завалинку усаживает и грустно так говорит:

– Ах, Марфа, золото мое, не могу я, ей-же-ей, жениться на тебе сейчас – ты же знаешь, кто я такой, всю жизнь под мечом карающим хожу, и кто знает, когда кончу. Вдруг возьмут меня так, что не выкручусь – каково-то жене моей будет? Римляне со свету сживут, а то и к тому же делу притянут...

– Ну не надо так говорить, – отвечаю я, – сколько раз ты на волос от смерти ходил, а все цел, даже из тюрьмы сумел бежать. А я уж с тобой на все готова, хоть кинжал мне давай!

Варавва как рассмеется – грустно-грустно:

– Ты, Марфа-золото, не Дебора и не Юдифь, не пристал тебе кинжал. Но слушай: на будущей неделе у меня большое дело будет, если выживу, то клянусь, что обручусь с тобой, только покуда тайно, мне ж нельзя иначе, сама знаешь.

Тихо-тихо так говорит, голову потупил, волосы на глаза свесились, маленький такой, и жалко мне его – сил нет, да и себя жалко, сижую и плачу. Он ушел: покойник все же в доме, мне и говорить -то с ним грех было, а деньги все-таки оставил:

– Не хочешь в подарок – в долг, считай, даю, а если что, их с тебя никто не спросит.

И ушел, больше я его так и не видела живым.

А на следующий день пришел к нам проповедник один бродячий, устал с дороги – ну божьего человека как не приютить? Сел он, начал разговоры всякие умные вести; сестра моя у ног его опустилась и слушает, я тоже послушала – странно говорит, ничего я не понимаю, но, думаю, словами-то сыт не будешь, а он, видно, оголодал в дороге. Пошла на кухню, приготовила ему поесть, принесла, а он говорит: «Марфа, Марфа, все суетишься ты, а вот сестра твоя избрала лучшее», – или что-то вроде. И так мне обидно стало – я прямо расплакалась. Он смутился, хотел что-то сказать, но я слезы утираю и отвечаю:

– Не думай, что я с твоих слов плачу: брат у нас умер, кормилец, о нем и горюю.

Тот посмотрел так ласково, задумчиво и спрашивает:

– Давно умер?

– Три дня, – говорит Мария; он снова задумался, потом ко мне повернулся:

– Похоронили его?

– Нет же, в соседней горнице лежит, – отвечаю и чувствую, что слезы опять льются.

Тут этот наш гость (Иисусом его звали) встает, уходит в комнату, где гроб стоит, и говорит нам из-за двери:

– Пока не позову, не входите, мне нужно собраться с силами. И больше ни слова.

Мне жутко стало, разные слухи ходили про всех этих проповедниках да еретиков (а если я что поняла из его речей, наш ребе этого бы не одобрил), некоторые, говорят, даже пьют при своих тайных обрядах кровь языческих младенцев, а римляне эти необрезанные потом все на нас валят. Я толкаю сестру в бок легонько, а она мне тихо-тихо: «Не бойся, он человек добрый». И тут он отворяет дверь и говорит: «Заходите», а вид у самого усталый-усталый, по лбу пот течет до самых бровей. Мы входим, а он так негромко, словно у него во рту пересохло, говорит:

– Лазарь, гряди из гроба!

Я даже вскрикнула, вижу, брат мой Лазарь открывает глаза, садится в гробу, озирается и зашитыми рукавами машет. Бросилась я к нему – живой! Мы с сестрой плачем, Мария кричит: «Чудо! Чудо!», а Иисус совсем тихо: «Мне надо отдохнуть».

Постелили мы ему, уложили, сами всю ночь с братом толковали, а он говорит, что не помнит ничего, только темноту. Так к утру все втроем и заснули, а на рассвете Иисус ушел, одного Лазаря разбудил и сказал на прощанье:

– Ну живи теперь, Лазарь! Если захочешь – всегда меня найдешь, а на всякий случай приготовь хороший гроб, примерно по моему росту. Ничего больше не сказал и ушел.

Мария проснулась, пошла его искать, проповедь послушать. Лазарь еще совсем слабый был, но сразу за работу принялся, как наш гость просил... А ближе к обеду к нам женщина в окно постучалась, пожилая уже и одета по-дорожному.

– Здесь, – спрашивает, – остановился Иисус из Назарета?

– Ночевал тут и чудо сотворил, а где сейчас, не знаю.

– Чудо? – повторила та женщина. – А можно мне его у вас подождать. Я мать ему, Мария, дочь Иоахима.

Тут я и примечаю, и впрямь, похожи они. Ну впустила я ее, конечно, покормила, та принялась о сыне рассказывать: и какой он хороший мальчик был, и как из дому ушел, так слухи о нем по всей Галилее пошли; а когда эта Мария, мать его, узнала, что он в Город направляется, пошла следом.

– Не к добру, – говорит, – все эти чудеса, сердце мне подсказывает, не к добру. Это, конечно, очень хорошо, что он вашего брата вылечил, а вот, слышала, будто он у Храма торговцев каких-то поколотил, – это нехорошо, боюсь поплатится он за это. Затем и приехала, хочу уговорить его обратно вернуться, домой: отец-то его Иосиф умер, мастерская стоит. Да и места у

нас, слава Богу, тихие, уже больше тридцати лет никаких тревог не было, с тех пор как Ирода-царя не стало.

– А римляне, – спрашиваю, – не очень у вас лютуют, не обрезанные?

– Нет, – говорит, – у нас только несколько их чиновников да одна центурия на весь край; ничего, терпим.

Так до вечера мы с ней толковали, а там приходит сестра, одна, и прямо с порога о нем:

– Сегодня Иисус не будет у нас ночевать, ему нужно с учениками какие-то вопросы обсудить, и потом, ночью, тоже дела.

– Не жалеет он себя, – мать его откликнулась, – не спит ночами, все правду-истину ищет. А где ее найдешь? Ну да может, образумится, ему предсказано было – большим человеком станет; как родился он, говорят, новая звезда зажглась в небе.

Так мы и заночевали все вместе, а поутру сестра моя снова ушла, а вернулась – как мел белая:

– Арестовали, – еле выговорила, и молчит. У меня душа в пятки ушла:

– Варавву? – спрашиваю, а Лазарь, ему из мастерской все слышно, ворчит:

– Слава Господу, попался наконец, все-то он воду мутит да народ бунтует, а нам не от бунта спасения ждать надо, от чуда! – совсем как сестра. А она отдышалась и говорит:

– Нет, Марфа, не Варавву; это твоего, Мария-галилеянка, сына стража схватила.

– Римская? – спрашиваю, а сама думаю: этот Иисус столько для нас сделал, может, Варавва со своими ребятами ему помочь сумеют.

– Нет, – отвечает, – храмовая: он Храм разрушить грозился.

Тут мы все словно онемели, одна мать его в голос плачет:

– Знала я, знала, чем это кончится! Знала, да не смогла удержать! Золотце мое, неужто и впрямь ты до такого дошел?

К Варавве я все-таки решила обратиться – он с кем-то там важным в Синедрионе дружбу водил, чуть ли ни с первосвященником; да поздно, он и сам не явился, только передал мне: «Сейчас некогда, завтра, коли жив буду, выручу вашего Иисуса». И сразу меня как по сердцу полоснуло – это самое «коли жив буду». Всю ночь дрожала, а сестра моя с той Марией о чем-то шептались тихонько, и обе плакали.

Наутро снова стучат к нам в окошко: мальчик какой-то, лет шестнадцати, хорошенький, говорит Марии: – Беда, сестрица! К римлянам на суд Учителя повели, говорят, мол, против Кесаря он погрешил, да это все неправда, ничего они просто не поняли.

Ну, думаю, если уж к римлянам – то это конец. Сестра моя и та Мария тоже поняли. Сестра плачет, а у старшей и слезы будто высохли, смотрит прямо перед собой и твердит:

– Распнут они его, распнут, с колыбели за ним смерть злая ходит.

А Лазарь молчит, только гроб стругает.

Потом уж, после полудня, приходит Авимелех, тихонько меня отзывает, и по глазам вижу – беда! Сам весь в крови, оборванный, голову платком до глаз замотал.

– Что с ним? – спрашиваю, а сама уже знаю.

– Взяли Варавву, сволочи, – отвечает, – и Гестаса с Дисмасом тоже, один я ушел. И будто стыдно ему этого.

А на чем взяли-то, думаю, может, не слишком страшное дело, посадят только? А уж из тюрьмы он сумеет уйти.

– Покушение на прокуратора, – говорит. Я так и ахнула, колени подкосились; Авимелех меня подхватил, говорит: «Ничего, Марфа, ничего, – а сам-то, видать, много крови потерял, да и я женщина крупная, нелегко ему держать, ноги дрожат, а он мне:

– Ничего, ничего, на Пасху положено помилование для одного осужденного, Синедрион за Варавву вступится.

Я наконец встала на ноги, спрашиваю:

– А передачу-то ему можно снести?

– Не знаю, – отвечает, – а я уходить должен, еле от хвоста оторвался. Но, что бы ни случилось, мы за Варавву отомстим: хоть десяток, а то и два десятка этих римских скотов поплатятся.

Ушел он, а как мы этот день доживали, не помню; потом узнали: Варавве пожизненное дали, а Иисуса и двух зилотов распнут на Лобном месте, на Голгофе. Пошли мы туда, сестра едва на ногах стоит, мать Иисусову поддерживает тот его ученик молоденький, а я передачу Варавве несусь – чтобы, хоть в тюрьме, а как-то Пасху справил.

Шли мимо Голгофы, она оцеплена; ну мать-то с учеником пробились как-то, а сестра моя не смогла, стража отогнала, и еще одну женщину тоже. Я смотрю – на горе три креста, и на среднем... Ой, не могу больше!.. Варавва висит там, далеко, правда, плохо видно, но мне ли его не узнать!.. А сестра смотрит, шепчет: «Иисус в середине». Они, на самом деле, ростом, худобой и кудрями схожи были. Я и хочу поверить, что обозналась, да не могу. Оставила Марию там, сама дошла до тюрьмы – передачу приняли, а свиданья не дали, и все они какие-то смущенные. Потом вдруг офицер прискакал и ну стражу костерить по-латыни, только и разобрала я, что про моего речь идет, а что говорили – не знаю.

Воротилась я ни с чем, уж темно было (рано стемнело тогда), Лазарь ко мне выходит, угрюмый, уже слышал:

– Вот он гроб-то заказывал – я сладил...

Тут у меня вовсе в глазах помутилось, повалилась я, говорят три недели без памяти лежала. А как оправилась, такие слухи про все это шли, что ничего не понять. Но Варавву я с той поры не видела, значит, они его все-таки убили – из тюрьмы-то, Боже мой, да разве он не сбежал бы!

4. ЗЛОБА

Рассказывает Марк Септимий Лонгин, центурион в отставке 4-й центурии 9-й когорты 11-го легиона

Что, опять про ту историю с казнью явились спрашивать? Сколько лет уже ходят, и все уходят разочарованные, и никто не верит. Чудесам верить – это пожалуйста, а старому солдату – нет, лучше нам сказочки и сплетни. И вы тоже не поверите, знаю. И все ж расскажу.

С чего все началось? Видите на щеке у меня шрам? Вот с него самого. Я стоял тогда с ребятами в охране Иродового дворца в Иерусалиме, где расположился прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Да, тот самый, который в ссылку потом попал, но за что и как, это уж не мое дело. Тогда, в Иерусалиме этом вонючем, было хуже любой ссылки: жара, смрад, зилоты-заговорщики с кинжалами бегают, по одному на улицу не выходи, а надо всем этим безобразием – их проклятый храм с тайным богом. Говорят, ныне кесарь собирается его сжечь или уже сжег – и правильно, храм только их и хранил, этих евреев.

Кстати, того Иисуса, о котором вы спрашиваете, судили как раз за попытку поджечь храм – чтоб потом свалить это на нас, римлян, и взбунтоваться. Мятеж тогда по всем мозгам гулял. Потому и удерживались мы, что у этих зилотов никакого согласия меж собой не было: каждый норовил себя одного выставить спасителем отечества. Как и сейчас. Ну так вот, среди них важной птицей был один отъявленный бандит, Варавва: нескольких офицеров зарезал, а еще, говорят, когда казармы загорелись, так это тоже его рук дело. И главное – словно невидимка он был, как ни гоняйся за ним – не поймаешь, а поймали раз, так он через два дня из тюрьмы ушел. Прирезать его тогда надо было на месте – ну да кабы прирезали, вы б этой истории и нее услышали, не было бы ничего. Что ваш Иисус? Таких проповедников длинноволосых тогда столько по всем дорогам шаталось, куда ни плюнь, и каждый себя за спасителя выдает. Не люблю таких, не только жидов, но и греков, и остальных. Философия всё это, ну да хоть кинжалами не махают.

Как раз этого Иисуса допрашивал прокуратор, когда я при дворце, значит, охрану нес. Вижу – сидят у входа какие-то подозрительные: двое вроде из учеников этого вашего красная, а еще четверо – в капюшонах, бумагу в руках держат.

– Кто такие? – спрашиваю.

– Просители, – отвечают.

Завтра приходите, говорю, а они ни с места. И тут как на грех выходит сам прокуратор, рассеянный такой, но спокойный (он всегда спокоен был, как камень, если и кричал – притворялся). Замечательный был генерал, я его еще по Рейнской кампании помню. Теперь уж умер, верно, в своей ссылке.

– Просители? – говорит. – Ну давайте ваши бумаги.

Я им кричу: «Шапки долой!» – И тут один, как молния, бросается на игемона, только кинжал блеснул. На остальных мы сразу успели навалиться, на этих капюшонников-то, галилеяне сами сразу исчезли. Ну, прокуратор знал, чего в этом вонючем городе можно ждать – все время под плащом кольчугу носил, она его и уберегла. Я злодея за плечо хватаю, руки ему за спину – только и успел он меня ножом по щеке полоснуть. Срываю с него капюшон – ба, да это сам господин Варавва! Мало кто его в лицо знал, а я вот помнил – видел, когда его в первый раз взяли. Скрутили его, я кровь еле остановил, жду, что игемон скажет: «Молодец, мол, Лонгин». Нет, он посмотрел и спокойно так говорит:

– Сильно он тебя? насквозь пропорол?

– Да нет, – отвечаю, – ваше превосходительство, – царапина!

– Ну хорошо, – кивает, – завтра твоей центурии вокруг лобного места стоять, так что пока ступай, отдохни.

Вот те на, думаю, хороша награда – вместо спасибо на самое вонючее место в Иерусалиме назначили. Никогда раньше с прокуратором такого не было.

Варавву в тюрьму отвели и караул двойной приставили, чтоб не сбежал прежде времени, а так, думаю про себя, не миновать ему, злодею, креста, и дружкам его тоже. Забыл, что в Иерусалиме перед главным их праздником (не помню, как называется) положено одного преступника миловать; сам кесарь подписал ходатайство о сохранении этого обычая, тот, старый кесарь, Август. Вспомнил, когда уже должны были приговор оглашать – ну, думаю, помилуют бродягу этого вашего, а Варавву-то уж наверняка казнят. И вдруг слышу:

– К распятию Дисмас, мятежник, Гестас, мятежник, Иисус, злоумышленник и пропагандист.

Я жду еще.

– Милостью Кесаря и прокуратора Иудейского смертная казнь бунтовщику Варавве заменяется пожизненным заключением.

Смотрю я во все глаза на прокуратора – что ж он делает? Варавва-то из любого заключения уйдет. Тот молчит, и лицо каменное. Ну, думаю, им виднее: может, прикажут Варавву в

тюрьме кончить. Он ведь политик был, Понтий Пилат, у него голова поумнее моей, хоть и довела его до ссылки.

Ну и отправляют меня с ребятами вести злодеев из темницы на лобную Голгофу – никого лучше не нашли! Солдаты ворчат, я покрикиваю, но и сам злюсь: за все мои заслуги, значит, к палачам прировняли. Ребята, понятно, тоже ропщут, но я это дело пресек, до тюрьмы с командой добрался молча, а внутри злоба так и пухнет. Назвали пароль, стража отперла двери, вызвали:

– Гестас, Дисмас, Иисус – живо!

Эти двое мятежников были ражие парни, так что я подмигнул своим на случай попытки к бегству – поняли. Солдаты меня вообще любили, как выходил я в отставку – не поверите! – плакали. Потому что я сам из солдат, нет, сам римским солдатом был и по сей день остаюсь, а виноградник этот – так, старость не радость; как его получил, кстати, сейчас расскажу.

Выходят трое, связанные. Я смотрю: Гестас – так, Дисмас, волчьи глаза, – так, а третий... я только рот разинул – Варавва! Похож он был на Иисуса, это да, а после допроса и камеры лицо и вовсе не узнаешь, видно сопротивлялся отчаянно и били тоже на совесть. Но мне ли его не узнать: Варавва, никто другой, тот, что мне накануне щеку обработал, сволочь зилотская, чуть кривым не сделал. Солдаты мои в лицо его не знают, я не в себе, но все же подошел, ткнул его в зубы, спросил:

– Иисус Галилеянин?

Тот глазом поворотил (второй-то заплыл начисто) и спокойно так отвечает:

– Да, Иисус.

Ну что ж, думаю, все ясно, бежать хочет по дороге; посмотрим же, кинжальщик знаменитый, чья возьмет.

– Хорошо, – говорю, – пошли за крестами.

Те двое свои подняли, мы их подвязали – держатся, а Варавва стоит, будто не ему сказано.

– Что ж ты, – говорю, – Иисус, дурака валяешь? – и в морду, – тоже мне, царь иудейский!

Мои ребята загоготали, а он стоит и смотрит лютым глазом:

– Да, царь.

Видел я в жизни трех царьков, не считая тетрарха Ирода младшего, ни один, сказать по чести, так на царя похож не был, не с виду, конечно, а так... изнутри. А раз изнутри царь, надо это спрятать. Мои ребята раздобыли где-то красные тряпки, вместо порфиры на него натянули, корону из терна свили – как напялили, аж кровью рожу залило. А тот молчит.

– Бери крест, – говорю, – твое иудейское величество.

Поднял он крест, и двинулись мы. Дорога к Голгофе оцеплена, все глазуют, я расслышал даже: «Вон он, Иисус, который

мертвого воскресил и воду в вино превращал». А Варавва воро-
чает головой под верхней переключиной, даром что терновник
еще больше царапает, оглядывается, хотел было что-то крик-
нуть, да я ему рот заткнул. Сам-то он, хоть знаменитый бандит,
а статью не вышел, хилый; по дороге свалился, пришлось его
крест другому нести; уж и не озирается, только мычит что-то.

Подходим мы к горе, минуем оцепление, а кругом уже ку-
ча народу собралась, всё жиды да сирийцы, а те двое тоже там,
которые у дворца Пилата ждали – рыжий и молоденький. Под-
нимаемся мы, тут какие-то бабы уцепились за поножи, вопят:

– Пустите с ним! Вас за это Господь простит!

Ну одну я сразу узнал – потаскуха из Магдала, ее только
здесь и не хватало для полного парада: тоже мне Царица! При-
казал оттащить ее, та отбивается. Тут этот молоденький подхо-
дит и какую-то старую еврейку ведет, а та еле на ногах стоит и
в землю смотрит.

– Пустите, – говорит, – это его мать.

– А ты кто такой, – спрашиваю, – сынок или дружок ми-
лый?

– Ученик, – отвечает (да еще по-латыни, верно учился
где-то), – пустите нас, мы ничего не сделаем.

Ну я пропустил обоих, а больше никого. Подняли столбы с
бандитами, я сам привязывал – вообще-то прибить гвоздями
полагалось бы, но тогда бы они и сдохли быстрее, – вкопали в
землю. Висят, Варавва посередине, двое других по бокам. Ди-
мас этот бранится что есть силы, второй молчит, а под Варав-
вою внизу те двое встали, мать Иисусова с пареньком. Она гла-
за поднять не смеет, даже не плачет, как окаменела: не видит
ничего, не слышит, а тот все вглядывается в Варавву, даже от-
крыл было рот, ко мне повернулся – узнал; но тут Варавва кляп
выплюнул и хрипло ему что-то по-арамейски стал говорить. Я
прислушался: может о заговоре что скажет, но вроде нет, да к
тому же и говорил он быстро, невнятно (во рту-то пересохло) –
я и махнул рукой, пусть болтает.

Потом сосед его вмешался, чуда потребовал; что за пес,
думаю, ему ли не знать, кто рядом висит; пырнул я обоих ле-
гонько копьем: поболтали и хватит! Мать того проповедника
вздрагнула, но слова не выговорила, не посмотрела – да и то
сказать, не для матери зрелище. Я уж отошел, злость моя куда-
то делась, думаю, может, сказать ей? Только подумал, парниш-
ка ко мне поворачивается и палец к губам, молчи, мол! Ладно,
думаю, бог с ними.

Потом, как он выговорился, Варавва-то, совсем его смори-
ло: и так слабый, да тут еще крови потерял (я с копьем пере-
старался), ну думаю, поживи еще. Нацепил я на шест губку, по-
лил из своей походной фляжки: вода с уксусом – самое милое
дело от жажды, на марше к примеру, протянул ему; он пососал,

глазом повел, но молчит. Тут уж и темнеть начало, он голову на грудь уронил и уж больше ни слова. Дисмас матерится, а Гестас, хоть вроде самый здоровый, вижу, уже готов; перебил ему голени для проверки – умер, точно. Тут Варавва поднял голову и крикнул что-то – то ли помолился, то ли бога своего проклял – и все, снова голова на грудь, судорога... и конец. Третий дольше всех жил, мои ребята его уже из жалости прикончили. Ну думаю, самое худшее впереди: на такой жаре вони не оберешься. Тут парнишка ко мне подходит, говорит тихо, а глаза строгие:

– Центурион Лонгин, сколько ты хочешь за тело?

Я его чуть по морде не хватил:

– Римский офицер мертвечиной не торгует, щенок!

Ну ладно, потом все же позволил ему позвать кого-нибудь покрепче – сняли Варавву, потащили. Я как-то даже успокоился, а то все боялся, узнают, что я приказ нарушил... Послал за ними солдатика – посмотреть-приглядеть, куда они его; вернулся, говорит, и саван нашли, и гроб из Лазаревой мастерской. Это известный гробовщик в городе... как я дочку свою хоронил, ему гробик заказывал, чтоб не видеть ее на костре...ну да я не о том. В общем тем дело и кончилось, только вот накладка у них вышла: гроб наутро пустым оказался, выкрали эти псы-зилоты своего коновода.

– А потом вызывает меня легат, а у него сидит прокуратор, и как глянул я на них, сразу понял: всё знают. Ну судили наспех, разжаловать не стали,

только просили подать прошение об отставке; легат подмахнул, а его превосходительство, игемон, мне какую-то бумагу в руку сует и на ухо:

– Хорошо, Логин, молодец!

Я потом посмотрел бумагу – дарственная на этот вот виноградник и дом, здесь, в Сирии: сплавил меня прокуратор подалее и рот заткнул. С тех пор тут и живу. Что с Иисусом вашим стало, не ведаю: к пожизненному вместо Вараввы, верно, решили присудить... Когда пришлось мне потом по надобности заехать в этот Иерусалим проклятый – прокуратор уже сменился, сидел в Кесарии, а в тюрьму я и заглядывать не стал. Дался мне этот Иисус? Вот мне уж и помирать скоро, а такие, как вы, все шляется, расспрашиваете, сказки рассказываете. Нашли себе бога, тоже мне!

Ну ладно, ступайте откуда пришли, надоело. Юпитер свидетель, пятерых кесарей я пережил, до шестого дожил, но еще одну компанию любопытных, вроде вас, что не в свое дело носуют, – не вынесу. И что им от меня нужно, этим христианам? Все равно ни один мне не верит. Да и я им тоже. Воскрес, мол! На небо вознесся, чуть не на Олимпе сидит! Этому пусть еврей Апелла верит, а римского солдата не проведешь!

5. ТАЙНА

*Рассказывает Иоанн Богослов, апостол,
в ссылке на острове Патмосе*

Я пишу эти строки здесь, на Патмосе, много лет спустя, своей дрожащей рукой, потому что этого диктовать Прохору нельзя.

Когда-то, в том светлом и страшном году, некий римский чиновник спросил Учителя: «Что есть истина?» Учитель не ответил, ибо Истиной был Он сам. Но кого видел в нем чиновник? Бродячего проповедника, каких много блуждало в то смутное время по дорогам Иудеи, одного из тех полумужицких, полуфарисейских философов, которые пытались истолковать Писание к своим – а не Господним – надобностям; оскорбителем Величества и смутьяна, грозившего поджечь Храм. Для него истиной было это, истиной, не нуждающейся в доказательствах. И все же что-то смутило этого человека, когда он встретился с Его взглядом – и спросил. Значит, даже Пилат, обрекший Учителя на смертные муки и отстранившийся от этого приговора омовением рук, чувствовал, что есть другая Истина – и казнь этой Истины пожелал возложить не на свою каменную, незапятнанную, непоколебимую римскую совесть, а на мой многострадальный народ.

Я не стану писать здесь лишний раз, что Истина едина для всех: римлян, эллинов, иудеев и галлов, я лишь осмелюсь сказать, что не может быть двух Истин, но две правды – могут. Одну из них знают все: Матфей, Лука, Марк под диктовку Симона-Петра, Прохор под мою собственную диктовку запечатлели ее и благовестят миру, и несть Благовесту тому конца. Но другую правду я тоже должен записать – и скрыть, и забыть, и уничтожить написанное, ради того, чему учил нас Он. Это правда о распятии Христа, ибо до самого крестного пути две правды едины, но потом тропы их расходятся – и этот пергамент должен обратить вторую, ненужную ветвь в прах, обречь ее на исчезновение в пожелтелой траве давних слухов и пересудов, которых уже почти никто не помнит. Я раскрываю ковчег, хранящий тайну, дабы уничтожить ее вместе с ковчегом, дабы от тайны не осталось ни пылинки, ни памяти, ни намека.

В день, когда прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат осудил Учителя на казнь, было на него совершено покушение националистами-зилотами. Во главе их стоял знаменитый тогда герой Варавва, слава которого затмевала, казалось, для Иудеи и славу Иоанна Предтечи, казненного незадолго перед этим, и славу самого Учителя. Покушение не удалось – Господь спас осудившего сына Его язычника, дабы тот смог увидеть, понять, постичь, что сотворил он. Варавва был схвачен вместе со свои-

ми помощниками: теми двумя, чьи кресты на Голгофе стояли по обе стороны от Креста Учителя. Не стоит вспоминать их имена, оставим это зилотам, готовым ныне вновь обречь Иудею на гибельное восстание. Но Варавва не просто зилотский герой, не просто разбойник, мятежник или патриот. Я расскажу все по порядку.

С Марией, матерью Божией, я поднялся тогда на лобное место, чтобы быть близь Учителя в последние часы и минуты Его земного бытия. Мария, узнав о приговоре сыну, словно окаменела тогда: глаза ее высохли и не смели смотреть на него, уши отказывались слышать Его стоны – но я, возлюбивший Его и поклявшийся нести Благовест о нем, должен был видеть Его лицо, угадывать по губам последние беззвучные слова. И я взглянул вверх и увидел лицо – но не Его Лик. Окровавленный, в терновом венце, с выбитыми зубами и затекшим полностью глазом, на кресте висел Варавва, тот самый Варавва, помилования (или по крайней мере спасения от смерти) которого добились у Пилата Синедрион и чернь. Передо мной был он, а не Учитель, и я не смог сдержать крика – радости или ужаса, не знаю, ибо любил Его, но знал, что Он должен умереть на кресте.

И тогда, с трудом шевеля пересохшими, распухшими губами, человек с креста сказал мне:

– Тише, мальчик, не кричи, если любишь его. Да, я не Иисус, я Варавва-зилот. Меня, а не твоего учителя, должны были казнить сегодня... И казнили. Я говорил с ним. Я не верю, что он сын Божий, как веруешь ты, но знаю, что он очень хороший человек. Он заблудился на правом пути, так же, как я.

Я хотел возразить разбойнику, но его страшный глаз смотрел на меня, словно запечатывая уста мои, а голос хрипел:

– Все мы – честные люди, ступившие на путь борьбы со злом; я шел по нему с ненавистью, с кинжалом – с тем же злом; это был напрасный путь... Я даже не смог убить римского генерала. Твой учитель шел с добром, с проповедью любви и смирения – и ты знаешь, где он должен был закончить свой путь – здесь. Зло, мальчик, бессмертно, как и добро... Их не стало в мире больше или меньше со времен Авраамовых: они повязаны меж собою, их не разлучить. Многие, как я, бились со злом на смерть, многие шли с любовью и смирением в сердце, дабы устыдить его и преобороть, научить людей, как твой Иисус. Все они гибли – или выживали и сами множили зло. Мы толковали об этом с твоим учителем в тюрьме – и не договорились; сегодня утром я еще верил в тот путь, который выбрал двадцать пять лет назад. Я вышел из камеры, когда вызвали Иисуса, девять моих товарищей держали его за руки и за ноги, не дали ему даже отозваться стражникам...

Тут я воскликнул:

– Нет силы на земле, которая могла бы удержать Его против Его воли! – и сам испугался своих слов, ибо они были худшим кощунством, признанием слабости Учителя, а не силы Его.

Но Варавва продолжал яростно выпихивать слова из своего пересохшего рта распухшим, искусанным языком:

– Я вышел, чтобы люди увидели, как Варавву, народного мстителя иудейского, ведут на казнь, как он ждет их помощи – чтобы разразился наконец бунт, восстала вся Иудея! Я ждал этого до самого креста. Но твой учитель за несколько дней в городе успел преобразить его. Я увидел – люди, которых я знал, уже не те. Им не нужен гнев – нужно чудо, чудо, которое я сотворить бессилён... свет, которого мне не пролить... Два-три яростных лица моих сподвижников мелькнули в толпе – и исчезли. Никто не прорвал строй легионеров, никто не обнажил меча, никто даже камня не метнул... Я не смог победить зло, не смог даже вызвать на эту борьбу новую ненависть... Но, когда уже поднимали крест – слушай, мальчик, и запоминай! – я понял, что зло нельзя убить ни яростью, ни кровью, но можно претворить его в добро. И когда хоть малая толика зла сделается добром, когда через зло появится новое добро – это и будет победой. Ему еще много предстоит, ему еще долго расти, этому добру. Его могут задушить, могут скрыть, но найдутся люди, которые охранят его, выпестуют и уже им самим будут претворять в новое и новое добро новое и новое зло. Ты успел услышать меня, ты сможешь понять меня, ты, молодой и сильный, должен спасти эту надежду. За живым Вараввой шли сотни – за мертвым не пойдут, забудут, найдут новых героев. За живым твоим учителем шла горстка, разбежавшаяся при виде стражи, за мертвым не пойдут и подавно...

Тут я вновь хотел возразить ему, но он еще говорил из последних сил, не прервавшись, даже когда центурион римской стражи ударил его копьем между ребер и кровь ручьем потекла по серой груди:

– Ты слышал, – почти шептал он, – люди ждут чуда. Расскажи им о чуде. Пусть твой учитель умрет сейчас, здесь, на этом кресте – и пусть он воскреснет. За мертвым не пойдут, мертвый ведет на смерть. За воскресшим – пойдут. Поверят. Прославят. И претворят зло в добро. Никто, даже эта женщина, которую теперь хранить тебе, не должен знать, что на кресте умер Варавва, а не Иисус. Потому что Варавва воскреснуть не может, а твой учитель – может, хотя бы в ваших словах и писаниях... Сделай так, как если бы это завещал тебе твой учитель. Ты понял?

Я кивнул, и он с облегчением уронил голову на грудь; только раз еще вскинул окровавленное лицо к небу, воскликнув: «Боже мой, боже, зачем ты меня оставил?» – и умер.

Ночью мы сняли тело с креста и положили во гроб, приготовленный Лазарем; на следующий день гроб оказался пустым – зилоты унесли своего вождя. Добавлю, что после этого долго еще ходили слухи, будто Варавва жив, будто он бежал из тюрьмы и скрывается в горах, собирая народное воинство; появлялись и самозванные Вараввы.

Но узнали люди и о Воскресении Учителя: мы, ученики, разбрелись по миру, неся Его Слово, претворяя им зло в добро. Что стало с самим Учителем, неведомо никому: из тюрьмы он исчез, никем не замеченный, и я верую, что он поднялся к престолу Отца Своего. Многие из нас видели Его потом – я и сам видел, но не знаю, Он ли то был или видение... Мы понесли Слово по миру, от Иберии до Индии. Я отправился в путь позже других, ибо не мог оставить в одиночестве мать Учителя, которую по Его завету (или завету Вараввы? Все равно это был добрый завет) должен был хранить. После Успения Ее я отправился дальше, разнося Благовест. И никто не знает (и не будет знать), кто был распят в тот день на Голгофе – ту, вторую, правду. Этот пергамент я сейчас брошу в огонь, он освободил меня от тайны, никто не должен более знать ее. И я сам не знаю уже, что было написано мною выше этой строки – не помню. Я знаю совсем другое – то, что написал в своей книге.

Но знаю я и то, что до конца жизни, как и прежде, к удивлению или равнодушию ближних моих, буду молить Господа за грешную душу Святого Великомученика Вараввы. Аминь.

ЕЛЕНА

В последний раз я родилась в городе Тире. Мать никогда не говорила мне об отце – только однажды обмолвилась, что его звали Симоном. Тогда я не придавала этому значения – тир большой город, и девочек, не знающих даже имени своего отца, так много. Мать служила при храме Астарты, и верховная жрица очень благоволила к ней. Когда мне сравнялось тринадцать лет, вошла в храм и я. Поклонники Астарты спали со мною, но я, как и все мои подруги, презирала их, считая, что во мне заключена божественная сила Астарты, – потом я узнала, что это была иная божественная сила. И всё же я всё более сомневалась – многие подруги прямо признавались мне, что пришли в храм не по велению духе, а лишь по велению плоти. Презирая мужчин, они желали их и принимали от них подарки, хотя это строго запрещалось верховной жрицей, – и всё же Астарта не изгоняла их из храма.

А среди тирских евреев, да и некоторых эллинов, всё ширился слух о новом боге, мессии, искупителе наших грехов. Эти люди считали нас величайшими грешницами; мы не слушали их и смеялись, но всё же какой-то страх поселился в моей душе: я хотела верить, что кто-то искупил мои грехи. И когда через два года после начала моего служения Астарте пронёсся слух, что в город пришёл из Самарии мужчина в сопровождении тридцати учеников, я захотела увидеть его.

Тайно выбравшись из храма, я прошла к дому, где он остановился, и сказала человеку у дверей, чтобы он передал обо мне мессии. Тот, показалось мне, был нем: знаками он позвал другого и велел мне повторить всё ему. Этот второй покосился на меня подозрительно, но всё же зашёл в дом и вернулся вместе с мессией, которого (я слышала) звали Досифей. Он был ещё совсем молод – не более чем на десять лет старше меня, – и прекрасен: высокий, стройный, кудрявый, со смуглым лицом и ясными серыми глазами. И хотя до того дня я два года служила Астарте и знала множество мужчин, лишь при виде Досифея у меня забилось сердце и я поняла: вот кто достоин меня, вот кто превосходит меня и всех жриц Астарты, а может быть, и саму Астарту – таким неземным светом сияли его глаза. Я опустилась перед ним на колени, но он поднял меня и воскликнул:

- О белокурая Селена, будь благословен твой приход!
- Меня зовут Еленой, – робко ответила я, но он возразил:
- Нет, ты луноликая Селена, месяц, спустившийся на землю к своим тридцати сынам! Дни! – обратился он к своим уче-

никам, обступившим нас. – Каждый из вас смеет говорить лишь раз в месяц, но ныне Мать ваша снизошла к вам и отверзла уста ваши – преклонитесь же перед нею!

И эти люди, юноши, зрелые мужи и почти старцы, приблизились ко мне, целуя мой пеплум и восхваляя меня. И это была не та лесть и не то грубое преклонение, которые я принимала от мужчин в храме, – нет, это было выше и чище.

Но вот мессия притронулся к моему плечу и ввёл меня и дом. Я села рядом с ним.

– Я слышала, что мессия низкоросл, хил и мрачен, ты же ясен и величав.

Он рассмеялся:

– Ты слышала о галилеянине Иисусе, которого распяли в Иерусалиме – он выдавал себя за мессию, но подлинный мессия – пред тобою. Я не искупитель, но освободитель – и я удостоился чести освободить тебя, Селена. Ты видела тридцать моих избранных учеников, но за ними идут многие и многие, и как луна – то есть ты – царствует над звёздами, так и ты будешь царствовать над миром. Я послан был известить тебя из блудилища для этой доли.

Слове его были темны, и я не могла вникнуть в их смысл, глядя лишь на прекрасное лицо Досифее; когда же он умолк, я сбросила плащ и прильнула к его сильному золотистому телу. Так впервые познала я блаженство.

Прошло немного времени, а может быть, и много – я была неразлучна с Досифеем, и что мне было до того, что он, хотя и звал меня Селеной и приказывал своим ученикам поклоняться мне, сам, как я вскоре поняла, был обычным человеком, который любил меня и делал счастливой.

Но шли дни, справлялись торжества полнолуний, и мой возлюбленный становился всё холоднее ко мне; вскоре я поняла, что уже не желанна ему, а нужна лишь для проповедей его учения. И когда в Тир пришёл новый мессия, уже не удивилась. Его звали Симоном, и это что-то напомнило мне, а все называли его Симон-волхв. Невысокий, коренастый, с окладистой чёрной бородою и мудрым взором, он всенародно творил чудеса, извергая пламя и вино, а его огромный чёрный пёс бросился на Досифея, когда тот назвал себя мессией, и едва не растерзал. Когда же взгляд волхва упал на меня, я почувствовала в нём гордость, мудрость и нежность, и ни капли той страсти, которой воспламенялись все мужчины при виде моего лица и тела.

Ночью, когда я спала одна (Досифей, ставший раздражительным и резким в последние дни, вновь отверг меня), я пробудилась от громких голосов за стеною. Это спорили Досифей и Симон.

– Мальчишка, – громыхал волхв, – ты называешь себя мессией, но разве не очевидно, что все твои последователи

уходят постепенно ко мне или же к христианам? Скоро тебе нечем будет жить. Я мог бы своей божественной силой умертвить тебя, но София, Вышняя Первомысль, Праматерь Мира, мать ангелов, архангелов и сил, дочь моя, ввергнутая сынами своими в бесчестие дольней жизни, в телесную оболочку и готовая ныне воссоединиться со своим отцом – та, которую ты называешь языческим именем Селены, благоволит к тебе, и ты будешь жить, если всенародно покаешься.

– Старик, я не боюсь тебя, – ответил Досифей, но голос его дрожал. – Я знаю, что ты сам хотел последовать за Галилеянином и купить сан апостола.

– Молчи! Когда я был повержен рыбарем Петром, отвергшим моё золото, лёжа во прахе, я имел откровение – я понял, что не Иисус, но я – Бог! И ныне, освобождая Софию, дочь мою, я освобождаю душу мира, и горе плоти его, когда он посмеет противиться мне!

– Бог так бог, – отвечал Досифей с усмешкой, – ты прав, мне скоро будет нечем жить, и никакие ангелы не помогут мне. Дай же то золото, что ты предлагал Петру, и я покаюсь завтра же всенародно и отдам тебе Селену.

– Софию! – прогремел Симон, но вслед за тем я услышала звон монет и поняла, что продана, как рабыня.

Наутро на площади Досифей склонился перед Симоном, назвал его Богом и умолял о милости; но на губах его вилась усмешка, и руки ощупывали мошну под плащом.

– Предоставим суд Софии, – рек Симон, и все взоры устремились ко мне. О, как желала я отомстить неверному Досифею, продавшему меня накануне! Но я вспомнила наши с ним первые ночи и сказала:

– Прости его, отец.

Досифей успел исчезнуть прежде, чем толпа набросилась на лжемессию, и больше я никогда не встречала этого прекраснейшего из смертных. Но Симон промолвил мне:

– Не горюй о красоте этого юноши – он жалок пред тобою. Я не скажу тебе о том, что знала ты в извечном начале своего бытия, – лишь позднее это откроется тебе. Но уже в брэнном человеческом теле, не земле, много веков назад, ты была воплощена в Елену Спартанскую, и тридцать три витязя Эллады, каждый из которых рядом с Досифеем подобен золоту рядом со свинцом, искали твоей благосклонности, но ты отвергла их и отдала женихам лишь свой призрак – тот, что погубил Трюю; и позднее ты воплощалась во столь же прекрасные образы, подобные Клеопатре Египетской, возлюбленной Цесаря и Антония; но как все они, так и Досифей были недостойны тебя: то, чем обладали они – призрак, брэнная оболочка, душа же твоя была чужда им и жаждала сретенья со мною, отцом твоим – к чему и вели тебя все эти облики. Близок час освобождения от

плоти, София, и тогда все души людские, сбросив личины, предстанут в своём бесплотном, неизмеримо прекраснейшем облике, и мятежные сыны твои – ангелы, и архангелы, и силы преклонятся пред тобою, как преклонился с повинной головой лживый Досифей!

Трудно мне было уразуметь его речи, но священное пламя, полыхавшее из-под тяжёлых век волхва, было убедительнее всех слов[№] и я вспомнила забытые слова: «Отец твой – Симон», и пала перед ним на колени. И он не поднял меня, как сладострастный Досифей, а лишь возложил десницу мне на голову.

И с тех пор я странствовала с ним, видела, как обращает он морскую воду и горячее масло, вспыхивающее от его взора, и как по его велению отлетевшие души возвращаются в бездыханные тела, и много иных чудес явил он, о которых ныне почти никто уже не помнит. Многие преклонялись перед нами, а многие угрожали, но Симон не страшился их, и лишь иногда его чёрный пёс бросался на обидчиков и рвал им горла, неуязвимый для рук и железа. Я же не обращала на этих людей внимания, увлечённая другим: все места, где пролегал наш путь, казались мне знакомыми – и Афины, и Александрия, и Сицилия, – и Симон напоминал мне о том, как я была Аспасией, и Клеопатрой, и многими другими. Но целью наших странствий был Рим, и несколько лет спустя мы достигли его стен. И здесь многие поклонились моему божественному отцу, и сам император, грозный Нерон, тайно вызвал нас к себе и внимал с ужасом и восхищением.

Но в ту пору ученик Иисуса Галилеянина, умершего некогда в Иерусалиме, рыбак Пётр прибыл в Рим, проповедуя о Христе. И лишь когда мы встретились с ним, мне показалось, что Симон утрачен; я не могла этому поверить. Но когда велением Петра чёрный пёс наш лёг у его ног и испустил дух, и я дрогнула, и рыжебородый Пётр ужаснул меня. Тогда Симон совершил новое великое чудо: он дал отсечь себе голову, а через три дня вернулся из небытия и предстал перед Нероном живым и невредимым.

– Он бессмертен, отец мой бессмертен! – воскликнула я, и никто уже не слушал Петра, утверждавшего, что Симон подложил вместо себя на плаху овна.

Иное взволновало меня: проходя мимо Петра, я услышала, как его спутник, юный Марк, заметил:

– Симон, взгляни – как эта Елена похожа на тебя! Это твои золотые волосы, и мягкие черты, и голубовато-зелёные глаза.

Пётр оборвал его, но я была смущена.

– Правда ли, – спросила я Симона, – что Петра зовут так же, как тебя?

Он устало вздохнул:

– Да, это правда. Порою мне кажется, что он – второй я, второе моё воплощение в человеческом обличи. Но, – и голос его вновь грянул грозовым раскатом, – скоро придёт час моего вознесения, и тогда рыбарь будет посрамлён!

Он приказал воздвигнуть на Марсовом поле высочайшую деревянную башню, с которой должен был воспарить. В день вознесения голос его был по-прежнему твёрд и лицо пылало мощью, но его застилала бледность, и карие глаза блуждали.

– София, – сказал он, – ты воспаришь за мною вслед, когда я призову тебя.

И с этими словами он поднялся на башню. Толпы римлян, и кесарь, и Пётр следили за его фигурой, казавшейся крохотной на вершине. Он шагнул – в небо, и рванулся ввысь, но лишь на миг. Пётр отрывисто воскликнул какое-то слово, и Симон камнем рухнул вниз. Несколько мгновений он держался, цепляясь за воздух, но наконец тело его тяжело ударилось о камни. Я первая подбежала к нему, но смотреть не могла. А Пётр гордо стоял, как изваяние, и лишь рука его двигалась, начертая в воздухе крест. Я поразилась – во мне не было ни страха, ни ненависти к этому человеку, но что-то, напротив, влекло меня к нему. Я приблизилась, но он оттолкнул меня, словно повелитель Города, и толпа ринулась ко мне, топча разбитое тело Симона. Я потеряла сознание.

Когда я очнулась и отлежалась у какой-то доброй старушки, язычницы, говорившей: «Все-то они гибнут, оттого что хотят лишь одного бога – и их боги не желают потесниться, чтобы дать место на своём Олимпе другим», – обо мне все забыли. Апостол Пётр и тому времени, когда я покинула Рим, уже был распят вниз головою по приказу императора. И я вернулась в Тир. Не знаю, кто был моим отцом – волхв или апостол, – но мне всё время кажется, что они едины, и я верю, что хотя мне, быть может, придётся сменить ещё много оболочек, дух – или души? – отца призовут меня к себе!

ВОЗВРАЩЁННАЯ СТРЕЛА,

или Абдаллах ибн-аль-Мутаз, халиф на день

ПЕРО

В 243 году Хиджры у несправедливого халифа ал-Мутазы Аббасида родился сын. По тогдашнему обычаю, его нарекли скромно Абдаллахом – «рабом Божиим», по тому же обычаю, наречение это отпраздновали шумно, с пирами, гульбищами, игрищами и стрельбою в цель. Молодой халиф сам принял во всём этом участие; одна стрела не попала в цель, и её не нашли. Это было сочтено дурным предзнаменованием, а через год аль-Мутазу свергли и уморили голодом в тюрьме.

Абдаллаха растила любящая бабушка, оказавшаяся достаточно скупой, чтобы позволить сыну-халифу запутаться в долгах и погибнуть, но достаточно щедрой, чтобы дать внуку царское воспитание. Он рос в её дворце, который то конфисковывали, то вновь возвращали старухе, никогда его и не покидавшей. Мальчик слушал сказки: про Аладдина и волшебную лампу; про Синдбада, пересекшего семь морей и видевшего птицу Рух и одноглазого людоеда; про предшественника Искандера Двурогого, тоже десять лет воевавшего в Азии и убитого стрелой в пятку.

Его пытались приучить к оружию – он уклонялся; его пытались приучить к охоте – он предпочитал слушать охотничьи рассказы.

– Кто был лучший на свете охотник? – спросил он как-то старого егеря. Тот страшным шепотом ответил:

– Немврод Нечестивый. Он построил Вавилонскую башню, а когда Аллах сокрушил её, то вызвал Всевышнего на бой и стал стрелять в небо. Архангел Джibriль ловил его стрелы, окрашивал радугой и бросал обратно, а Немврод думал, что ранил Бога. Потом он обезумел, ушёл в леса и был заеден комарами.

Абдаллах невзлюбил охоту, но полюбил песни и стихи о старых временах; потом он начал писать их сам.

ДРЕВКО

Шли годы; опалу с рода аль-Мутаза сняли, Абдаллах жил при дворе и учился у поэта Абульгасана Сына Грека писать стихи. Абульгасан показал ему языческую картинку: мальчик с луком. Колчаном и завязанными глазами.

– Кто это? – спросил Абдаллах.

– Дух любви, – ответил Сын Грека.

– А я думал, смерти, – сказал Абдаллах.

– Или жизни, – возразил Абульгасан и рассказал юноше странную задачу о летящей стреле, которая каждое отдельное мгновение неподвижна.

– Так что скорость её нельзя рассчитать? – спросил Абдаллах.

– Математики могут, – ответил Сын Грека, – а философы говорят, что она летит бесконечно долгое и бесконечно короткое время.

Юноша сам стал писать стихи. Ему говорили:

– Ты царского рода, учись лучше судить и воевать – это удел властных.

Он ответил стихами:

– Что даёт власть? Боязливую душу, усталое тело, пошатнувшуюся веру.

Его наставник однажды признал:

– Ты пишешь лучше меня стихи и поэмы. Напиши же книгу о том, как у тебя это выходит.

– А почему ты не хочешь сделать этого сам? – спросил Абдаллах.

– Мне не до того: я должен успеть посмеяться, – ответил сын Грека. Через несколько дней он был отравлен пред лицом халифа, читавшего ему в это время вслух его собственную сатиру.

Абдаллах написал книги о том, как слагать стихи, говорить речи, понимать музыку и искать смысл жизни; из последней сохранились лишь отрывки, темнотою соответствующие теме. Как-то он увидел двух охотников-бедуинов: старший учил младшего стихосложению по его книге. Ещё с языческих времён арабам в таких случаях подобала щедрость: Абдаллах одарил их и усадил с собою за стол.

– Да умножит Аллах твои песни, как стрелы в моём колчане! – сказал старший охотник.

– Да умножит Аллах потомство Аббасидов, как стрелы в моём колчане! – воскликнул младший. Поэт нахмурился:

– Не говори так. Чем больше море, тем больше волны, чем больше стрел, тем больше ран, чем больше у царя родичей, тем больше смут.

– О Ибн-аль-Мутаз, – молвил старик, – стрел в колчане много, но убивает лишь одна!

Тот ничего не ответил.

Халиф, отравивший в своё время Абульгасана, после многих подвигов и войн был отравлен сам. Заговор составлял тот везир, что донёс на Сына Грека; яд достал некий индус. Сын покойного, молодой халиф Муктафи, допросил индуса в присутствии Абдаллаха.

– Как ты посмел посягнуть не тело и душу повелителя мусульман? – спросил он грозно.

– Я не мусульманин, – ответил индус, – на тело царя вашего посягнул по приказу, а на душу посягнуть не мог. Вы, верующие в единого Бога, разве не знаете, что все души – одна мировая душа, которая держится на конце вечно летящей и вечно неподвижной стрелы?

– Откуда ты взял эту ересь? – спросил халиф.

– Из нашей книги Упанишады, где сказано многое, – пояснил индус. Муктафи произнёс слова, которые приписываются Омару, сжигавшему Александрийскую библиотеку, и распял индуса. Он был достойнее своих предшественников, но с тех пор Абдаллах избегал его.

ОСТРИЕ

Муктафи умер бездетным. На престол претендовал его мальчик-брат; несколько знатных вельмож пришли к Абдаллаху и сказали:

– О сын халифа, займи престол предков.

– Не хочу, – ответил поэт. – Больше всего бед от власти – облечённому властью; близкий к огню сгорит первым. Чем вам не по нраву брат Муктафи?

– В свои тринадцать он глуп, как в десять, азартен, как в двадцать, и развращён, как в тридцать, – пояснили придворные.

– Ты сам сказал когда-то: народ без государя есть тело без души; ты один – достойный государь.

Абдаллах не помнил, когда и где он это сказал, но вздохнул и согласился, заметив:

– Видно, мне пора повстречаться со смертью.

– Что есть смерть, о мудрый Ибн-аль-Мутаз? – спросил некий скептик из его сторонников. Абдаллах взглянул на него и произнёс:

– Смерть – это стрела, пущенная в тебя в день твоего рождения, а жизнь – то мгновение, которое она до тебя летит.

Никто его не понял, никто не вспомнил игрищ в честь его рождения, о которых он и сам ничего не знал.

Абдаллах ибн-аль-Мутаз Аббасид был провозглашён халифом и взошёл на престол отца. В окружении своих приверженцев он стоял на золотом троне десять часов, не произнеся ни одного приговора врагам и не пожаловав ни одной милости сторонникам. Вечером этого дня, третьего в шестом месяце 285 года Хиджры, в толпе приверженцев юного брата покойного Муктафи щёлкнула тетива, в воздухе просвистела стрела и впилась в грудь Абдаллаха. Он упал с престола, обливаясь кровью, а вокруг началась резня. Абдаллах был ещё жив, когда победители подобрали его, лежащего со стрелой в груди, и посадили на кол; но муки однодневный халиф терпел лишь несколько минут. Последним словом, которое разобрали на его пузырящихся кровью губах, было:

– Стрела...

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАКБЕТ

Я духов вызывать могу из бездны...

Глендаур

ГОЛОС БАНКО

Я любил Макбета, как брата, как себя самого. И вместе с ним любил я и его пса, его коня, его жену... Я делал все, что мог, чтобы удержать происходящее, чтобы законный наш государь король Дункан, прибыв в Инвернесский замок, не прикоснулся к законной жене Макбета. Но для королей тогда, как и теперь, уже не было законов и еще не было приличий – они не интересовались ласточками и галантными беседами. Дункан заметил мои старания; потому-то именно через меня он даровал леди Макбет тот двусмысленный брильянт – свою плату.

Я любил Макбета, я видел все, что видел он сам – даже его ведьм, слышал их пророчества и верил им, как он. Да, Макбет, король грядущий – на это он был обречен, но грядущая династия должна была пойти от меня. Может быть, мне следовало сделать так, чтобы она считалась Макбетовой – потомство его жены, лучшей женщины в мире (потому что она была его женою) все бы сочли за его, Макбетово потомство... но, во-первых, я не решился бы на такое, а во-вторых, один человек не поверил бы в это никогда – сам Макбет. Мой род должен был взойти на престол иначе... как жаль, как, в сущности, жаль!

Но потому я и отправился домой после того страшного, мучительного, разлучного разговора с ним о сотрудничестве; потому и возвращался к королю, на верную смерть, вместе с единственным сыном моим, Флинсом. Сам я лишь сокращал себе муки совести и одиночества, ибо без Макбета, вне Макбета не было надежды выжить, откуда бы ни пришла смерть – от ножа подосланного убийцы, от яда, от боли. Но я верил – знал! – что Флинс не погибнет со мною, иначе не исполнилось бы пророчество, которое я слышал ушами Макбета – что род Банко будет царствовать в Шотландии. Я не сомневался, что сын уцелеет, хотя и не знал – как. Почему же я тогда взялся доставить его ко двору короля? Простой и странный для многих ответ: я хотел, чтобы Флинс заменил меня для Макбета. Так и случилось – как это ни нелепо звучит, – после того как мне не разрешили выйти отсюда, чтобы хоть в виде призрака, видимого лишь ему, взглянуть в последний раз на того, кто был мне дороже всех...

ГОЛОС ЛЕНОКСА

Да, странный был пир с привидением и страшный – не только для Макбета, для меня, для всех – тоже. Как только на королевском застольном месте появился неизвестный юноша и король спросил: «Кто это сделал, лорды?» - я оцепенел, как и все: мы не знали, кто это сделал, нам пришлось притворяться, что мы ничего не видим...

ГОЛОС РОССА

Не впервой. Храбрый мальчик.

ГОЛОС ФЛИНСА

Да, это был рискованный шаг. Я ведь едва спасся от наемных убийц, они могли нести караул в пиршественной зале... К счастью, этого не случилось, а из остальных никто никогда не видел меня и не мог узнать... даже Макбет. Он ведь узнал не меня, а, как я и думал, отца во мне – Макбет рос с ним вместе, он помнил Банко молодым и принял меня за его тень. Сам не знаю, зачем я сделал это, почему решился на такую безумную авантюру, но она оправдала себя – Макбет надломился.

ГОЛОС БАНКО

Как я завидую тебе, сын. Не короне, а тому, что ты успел увидеть его. Ты, ненавидевший Макбета, а не я – любивший. Странная штука жизнь... и смерть.

ГОЛОС ЛЕДИ МАКБЕТ

Ты знаешь, Банко, как любила его я – здесь мы могли бы потягаться. Ты не пожелал делить с ним власть и гнет власти, оставаясь рядом с черным факелом его судьбы... А его судьбою была я, я, а не волхвующая старуха, которой он бредил – и, как видно, бредил с ним и ты. И поэтому я хотела добыть ему все лучшее, что могла. Ведь на ком он женился, кто я была такая? Соломенная вдова с двумя годовалыми бастардами от Дункана – это началось еще тогда... Дети умерли, но я уже была женою Макбета. Не думайте, что это была «королевская воля» - нет, Макбет сам этого хотел, и я тоже хотела – его, самого смелого, сильного, властного человека в Шотландии. А о пророчестве ведьмы я узнала нечаянно, не оно было у меня на уме, когда я перерезала горло Дункану от уха до уха и приказала умертвить двух сонных от макового зелья телохранителей. Нет, не пророчество, и не видение слишком гордой головы, только от сивиллы желающей узнать свою меру – не пророчество, а месть за то, в чем я не могла отказать – государю. Отцу моих умерших близнецов...

Я надеялась в ту страшную ночь в Инвернессе (еще до того, как казнила Дункана), что я должна зачать от него, ненавистного и венценосного. Макбет поверил бы и утвердился,

наконец, в том, что он – может, это так мучило его всю жизнь, а его наследник, тот ребенок Дункана, который должен был бы родиться, оказался бы и по крови законным наследником: я скрыла бы то, что знала, но добилась бы этого любым путем...

И я сделала Макбета королем – не для того, чтобы стать королевой, нет, я никогда не стремилась к власти, я ни разу не произнесла, не подумала слова «королева». Я лишь ждала, чтобы мой сын родился законным королем. На первый перстень я подарила бы ему тот, слишком памятный мне бриллиант.

Может быть, ничего этого не надо бы говорить, но ведь началось все из-за меня, я и отвечу за все.

Дункан умер. Мальчик не родился. А Макбет стал другим человеком – только я и, может быть, Банко знали, что он – тот же, что и прежде, только сильнее... Мальчик не родился – тогда-то я и обезумела. В один из дней десятого месяца я умерла – очень не вовремя, как счел Макбет. Кто знает? Я бы тоже предпочла умереть чуть позже. Вместе с ним.

ГОЛОС ДУНКАНА

Ну вот, пошло: все любят, все жалуются, хотя кому жаловаться, как не мне! Право, даже странно... В конце концов, я король, можно было бы и дать мне говорить первому, как в списке действующих лиц, где всякие леди – в самом конце. Так ведь нет – и все из-за трех сделанных мною ошибок!

Да, я совершил три оплошности, две из которых едва не погубили всю страну, а третья – погубила-таки меня самого.

Первая состояла в том, что, видя головы Макбета и Банко, возвышающиеся надо всем двором и дружиной, Мы, Божией милостью король Шотландии, не отсеки их. А ведь Наша венценосная голова должна была оставаться единственной – и только Нам и надлежало быть выше остальных как раз на эту голову.

Дело в том, что я боялся своего родича Макбета, по лестничному праву долженствовавшего наследовать престол – и вот, после победы над Кавдором, Мы даровали ему титул Кавдорского тана – и слишком поспешно отменили древнее законоуложение и объявили наследником Нашего сына Малькольма. На него можно было положиться, он прекрасно отвлек бы на себя раздражение Макбета... если бы тот не был раздражен так сильно. Ведь брато-, а тем более кузеноубийство в сени престола в наши времена были явлением обыденным, а вот отцеубийство ради скорейшего приятия родительской короны – это бы уже навлекло осуждение всех соседей даже на такого бессердечного себялюбца, как сын Наш Малькольм.

В общем, я думал, что они будут грызться между собою, а меня оставят в покое...

Но тут сказала моя третья ошибка: я полагал, что леди Макбет почти не изменилась за эти годы негласной нашей раз-

луки. А она очень изменилась – не столько внешне, сколько изнутри, с той стороны души. Когда-то она любила меня и словно светлее становилась в близости, эта девочка. Увы, в тот жестокий день она впустила меня, как привратник, отдалась горячо – но словно бы не мне, а кому-то другому, неизвестному... А немногим позже, пока моя подпоенная стража почивала, как два сурка, леди Макбет заколола меня моим же кинжалом.

Но ведь я был совершенно уверен в том, что она меня любит! Тем более что я подарил ей такой красивый бриллиант...

ГОЛОС ЛЕДИ МАКДУФ

Нас с сыном принято считать проходными персонажами в этой истории, как бы наглядными картинками зверств Макбета. Это совсем не так. Во-первых, именно наша гибель положила начало крушению и гибели самого Макбета – если верить пророчествам так, как верил он, то для рожденных женщиной, пока Бирнамский лес не сойдет с места, король действительно был неуязвим... не телом, а душевно. Сломить Макбета могло только то, чего он боялся – а после смерти Банко он не страшился никого и ничего, кроме того, что услышал в пророчествах, увидел в видениях, что он принял и подтвердил как правила игры «Да здравствует Макбет, король грядущий». Он был лучшим бойцом, чем мой муж, и легко одолел бы его в поединке, если бы это входило в правила его игры – но оказалось, что, следуя им, Макдуф обязан был стать его убийцей. Я не люблю кровопролития. В отличие от мужа, я рада, что Макбет – бездетен.

Что я хотела бы знать, так это почему Росс, спеша в Англию, завернул к нам в замок предупредить о том, чему ни мы, ни он не могли бы воспрепятствовать... и, кажется, описал Малькольму нашу гибель, как очевидец.

ГОЛОС РОССА

Миледи, я старый человек, я слишком хорошо знаю то, что вы называете «игрою», а другие – «нравами»: я обязан был вас предупредить, хотя бы только для очистки совести по дороге на Юг. Что же до того, о чем я рассказал королю (законному, не более – Малькольму Безземельному), то я навидался в жизни столько подобного, что могу описать такую процедуру с доскональной точностью...

ГОЛОС ЛЕДИ МАКДУФ

Но не только для того, чтобы умереть и сдвинуть первую крупинку камнепада, мы оказались на сцене ровно в середине этой истории. Мой мальчик спросил: «Что значит – предатель?» А ответ на это куда пространнее, чем та отговорка, которую успела произнести я. Макдуф предал нас с сыном, Макбет – Дункана и Банко, Банко – леди Макбет и самого Макбета, кото-

рого пережить не мог бы, беглые таны и принцы – страну и так далее. Это – трагедия предательства. Я это знаю – я сама дала сыну погибнуть прежде меня. «Меня убили, матушка, спасайтесь!» - этот крик, крик единственного, кто понял, кто посмел спросить «что такое – предательство?» слышен мне и до сих пор. Дорогая цена за знание правил игры...

ГОЛС МАЛЬКОЛЬМА

Мы, Малькольм, Божией милостью по крови и закону государь и король Шотландии, соизволяем ответить на ваши вопросы.

Воистину, вор и злодей, бывший Гламисский и Кавдорский тан отца Нашего, Государя и проч. Дункана (канонизация коего как страстотерпца обсуждается ныне по предложению короля Англии и проч. Эдуарда) – итак, отца Нашего лукавством и коварством залучивши в замок свой, жестокою смертью погубил. Посему младший брат Наш Дональбайн, правом на престол не обладавший, вынужден был устремить корабли свои в Ирландию, Мы же – стопы свои в Англию, дабы добиться возмездия вышеупомянутому Макбету – погубившему, исключая даже отца Нашего, короля и государя своего, великое множество достойных танов и семейств их. За Нами же последовали на Юг многие верные своей присяге таны, ныне получившие графский титул. Вслед за тем, заручившись поддержкой короля Английского и проч. в лице славного воеводы Сиварда, вместе с юным сыном его и доблестной дружиной, - Мы сокрушили воинства и оплоты коварного злочинца Макбета. Затем, наградив либо покарвав, согласно заслугам их и порокам, Наших подданных, Мы мирно воцарились в процветавшей Нашей державе в мощи своей и столь же мирно правили до того печального недоразумения и самочинства доблестных английских гарнизонов, каковое погубило род Дункана и Нас лично...

ГОЛОС ЛЕНОКСА

Что касается лично меня и моих отношений с Макбетом, то я всегда был осторожен и предусмотрителен. Макбет же не столько заблуждался, сколько сам создавал, утверждал, способствовал заблуждениям. Я помню, как в моем присутствии он беседовал сам с собою на четыре голоса и много других странных случаев...

Из всех предавших Макбета (я не считаю казненных Малькольмом, он просто добывал себе средства на расплату с англичанами) я был последним. Я отнюдь не любил Макбета, я не извращенец, но я сделал на него ставку. Только когда его корона засияет над Шотландией, казалось мне, вторым человеком – чуть-чуть, на дюйм вторым, - окажусь и я. Я служил Макбету честно еще до того, как он сделался королем; я обращал

его рассеянные мысли в четкую систему и точное дело (именно так погибла семья Макдуфа; видит Бог, знай я, чем это обернется, никогда не пошел бы на столь бессмысленную жестокость по отношению к заложникам). Именно поэтому, благодаря взявшемуся невесть откуда убийце, удалось устранить Банко и упустить Флинса. Для короля это было бы доводом, что и он, бездетный, останется королем до самой смерти. Когда он произнес «Змея убита, но змееныш жив», голос его казался почти ликующим.

Я делал то, что подразумевал Макбет. Увы, не всегда удавалось точно уловить блуждающие мысли короля, и все же я служил ему опорой: моя деятельная жестокость оправдывала для Макбета его собственную, словесную или мысленную. Таких людей, как я, тираны терпят при себе и боятся потерять: это не какой-нибудь Макдуф, умеющий только драться, не думая о заложниках и поддакивать любому, самому противоречивому суждению.

Когда я понял, что Макбет едва ли продержится при вторжении англичан, ибо весь цвет нашего рыцарства качнулся к Малькольму, я подождал некоторое время и примкнул к большинству. Я был уверен, что Дональбайн мертв... Но предать Макбета все-таки последним – это немало значило; в поход ни Малькольм, ни Сивард меня не взяли, напротив, оставили в одной из лучших камер в лондонской темнице. Вот там-то я мирно и прожил все последующие войны и падение Макбета, Малькольма, Дональбайна, а потом был освобожден как убежденный противник кровавого Дунканова рода и сделался первым королевским советником. Рано или поздно умный человек будет оценен по достоинству.

ГОЛОС ДОНАЛЬБАЙНА

Я никогда не оценивал свои способности особенно высоко. Я от рождения неудачник. Клеймо злосчастья, как выразился бы мой недобрый брат, запечатлено на моем челе. Тяжелые роды – отсюда хромота. Положение младшего в семье: никто, ни я сам, ни отец, ни тем более Малькольм (я правильно сказал? Мне сложно говорить на этом новом наречии), коварный змей, никогда не допустили бы и мысли о том, что престол займу я. После гибели отца я сразу понял, кто еще останется в живых, а кто – нет, и прямо сказал об этом брату. Тот дал мне возможность эмигрировать (я правильно сказал?) в Ирландию, а сам отправился на Юг, заручился подмогой короля Эдуарда и во главе англичан, как бурный вал на берег, обрушился на пределы своей родины! Он короновался в Сконе! Он даровал даже своим сподвижникам титулы каких-то графов вместо чести носить высокий титул шотландского тана! Он отдал державу на разграб-

ление южанам, он казнил достойнейших людей наших, дабы (так?) завладеть их имуществом!

Такого надругательства над честью и родовой гордостью отечества я, конечно, не мог стерпеть: король Ирландский снарядил корабли со множеством дружинников мне в помощь, и мы сошлись с братом в бою, как два льва. Я занял Скон и был венчан отцовским венцом. Я предоставил своим ирландцам удовольствие добивать англичан, сам же удовольствовался головою Малькольма. Еще в день предпоследней нашей встречи, близ тела отца, я предупредил его. Разве я виноват, что мне повезло... тем более так ненадолго... я правильно говорю?

ГОЛОС ФЛИНСА

И вот долго после гибели отца я, избранник Господа и народа Шотландии, был вынужден скитаться в горах, где, впрочем, оказался отнюдь не одинок: сюда стекались изгои, преследуемые Дунканом, Макбетом, Малькольмом, Дональбайном – весь народный гнев, вся мощь возмездия!

И молвил я: братья мои, истинные сыны отечества! Ныне я, Флинс, сын Банко, призываю развернуть наши стяги, дабы сокрушить как престолохищника, коварного хромца Дональбайна, так и грабительские английские своры, рыщущие вокруг по землям, захваченным ими либо дарованным предателем народа Малькольмом, ныне падшим. И долг наш – истребить эти полчища, за исключением самого вожака их, Сиварда, и тех южан и ирландцев, выкуп за которых поможет подняться из праха и крови нашей великой и единой Родине.

И в час последней, сугубо кровавой битвы между войсками Сиварда и дружиною Дональбайна, когда истощились силы и средства обеих сторон, я с вольным и гордым, истинно шотландским по роду и духу воинством обрушился на этих хищников, как царь давит с круч гелвуйских, и мы разбили, и разгромили, и казнили, и пленили, как это было предусмотрено согласно Нашему замыслу.

И, стряхнув окровавленные оковы, расправилась и преисполнилась всяческих благ земля наша, и бароны, таны, графы и священнослужители признали Флинса достойным власти над нею, и были Мы коронованы в Сконе, и от Нас и отца Нашего, великого Банко, простерся в века королевский шотландский род, во исполнение пророчества трех Мойр, или Парок, или сивилл, данного в давние века.

ГОЛОС МАКБЕТА

Во всех словах, сказанных вами, скрыта правда, стройная, как арка римских времен. Но замковый камень ее – у меня, и я не допущу до него ни единого из вас...

ВETERАНЫ

Одноглазый бородатый раб сидел во дворе мастерской посреди города Александрии и обтёсывал камень. Он занимался этим изо дня в день вот уже тридцать пять лет, а перед тем работал у гончара, а что было ещё раньше – никто в Александрии не помнил, как никто не помнил даже имени раба – хозяин так и звал его: «Одноглазый!». А больше никому и не было в этом нужды. Хозяин был человеком среднего достатка и содержал мастерскую по изготовлению надгробий. За долгие годы Одноглазый так и не научился – или не пожелал научиться – высекать узорные благочестивые надписи, так что в этот день, как и тридцать пять лет назад, он обтёсывал плиту, а камнерезы смотрели на него с великим презрением. На презрение Одноглазый не обращал внимания, но спина и руки у него постоянно очень болели, и он не надеялся дожить до следующей весны.

Внезапно кто-то окликнул его, и он не сразу обернулся на окрик, потому что кричали не «эй, ты», и не «Кривой!» – его называли другим именем, и он вздрогнул, потому что помнил, КТО когда-то позвал его так.

– Этьен, мать твою! – кричал ему на чудовищной смеси франкского и арабского дородный рыжеусый человек в богатом халате и тюрбане, остановивший породистого коня возле мастерской.

– Кто ты? – спросил Одноглазый. Всадник засмеялся:

– Пожалуй, я сильно изменился; да и ты не меньше, едва тебя отыскал. Но ведь ты действительно – Этьен из Денина, крестоносец?

Раб, высевавший надпись на плите поодаль, поймал последнее слово, памятное на Востоке, и хрипло рассмеялся:

– Ошибся, эффенди, никакой он, слава Аллаху, не крестоносец, меч в руках не держал.

Но Одноглазый встал и, взглянув на всадника, медленно ответил:

– Да, я Этьен из Денина, крестоносец. А кто ты?

Всадник расправил пышные усы:

– Помнишь ли Теофиля, Этьен, нищего щенка, пошедшего за тобою в Крестовый поход детей? Правда, вожак, тогда то не обращал на меня внимания.

– Теофиль? – задумчиво повторил Одноглазый; он часто перебирал в памяти прошлое. – Я помню тебя. Ты был другим.

Всадник спешил:

– Ну, брат, и ты не похож на прежнего Этьена, вождя Невинного Воинства – тогда ты был таким ангелочком с голубыми глазками... Хорошо, что я наконец нашёл тебя.

– Зачем? – спросил Этьен, продолжая долбить камень. – Это прошло – особенно для тебя.

– Ну, ты стал нелюдимом, – усмехнулся Теофиль. – Всё-таки старый товарищ. Знаешь, ведь мы с тобой – последние ветераны того похода. Четверть перемёрла ещё во Франции от дизентерии, столько же потонуло по дороге во время бури, а остальные сгинули здесь, в рабстве. Правда, одного живого я ещё разыскал – Клода: он сошёл с ума и юродствует на майдане. Я не стал мешать его жизни – он доволен ею, он всегда завидовал тебе, нашему пророку, а теперь уверен, что сам – пророк. Впрочем, ему хорошо подают.

Он постепенно переходил на всё более чистый франкский язык, хотя Одноглазому от этого было не легче его понимать.

– Да, – вздохнул Этьен, – дорого мы – почти все – заплатили за Царствие Небесное. Дороже, чем получили за нас те мерзавцы, венецианские купцы, взявшиеся переправить нас на кораблях в Палестину и продавшие в рабство здесь. И они ведь тоже называли себя христианами! – и он добавил французское ругательство, грубое, но не богохульное. На родном языке он тоже говорил уже скверно, даже хуже гостя, и ему приходилось с трудом припоминать слова: сказывалась привычка думать по-арабски.

– Как знать, – ответил Теофиль, подбирая полы халата и усаживаясь рядом на заготовку надгробия. – Знаешь, мне трудно винить их. Они – купцы, их дело – нажива, любым путём. Они просто сделали своё дело. А вот мы, Этьен, – мы тогда взялись не за своё.

– Это было угодное Господу дело, – твёрдо и устало произнёс Одноглазый.

– Не уверен, – ответил Теофиль (он уже не усмехался). – И я не могу сказать, кто более виновен в том, что нас осталось трое из двадцати тысяч, – несколько венецианских купцов или один давний мальчик, пастушок Этьен, приведший сюда, в Александрию тех, кто не погиб раньше.

– Не я вёл вас, – возразил Этьен.

– Кто же?

– Я слышал Голоса. Они сказали мне, что Гроб Господень обретут невинные, – торопливо и горячо, как когда-то, заговорил Этьен, но собеседник схватил его за руку:

– Осторожно, брат! Не переваливай на Господа вину одного мальчишки, которому захотелось – чтобы всем стало лучше, и он позвал с собою остальных, повёл их к этому лучшему и привёл на александрийский рынок.

Одноглазый молчал.

– Я не знал, будет ли лучше, – продолжал Теофиль, глядя ему в лицо. – Но я не был кулачком, не был даже пастушком вроде тебя, я был нищим и твёрдо знал одно: хуже не будет – хуже после того, как благородный сеньор извёл мою мать, а кюре отнял у отца землю, а денинские мужики забили отца кольями за кражу куска хлеба. И поэтому я пошёл за мальчиком по имени Этьен и бродячим монахом по имени Николас.

– Николаса убили, – глухо отозвался Одноглазый.

– Мне не жаль его. Он заслужил это, фантазёр – страшный, губительный фантазёр, мечтавший стать архиепископом Иерусалимским. Мне жаль других, Этьен. Двадцать тысяч других. Невинных.

Этьен издал горлом странный звук, потом выговорил:

– Уходи. Изыди!

Лицо Теофиля подобрело:

– Да что ты гонишь меня? Я долго тебя разыскивал – всех наших искал, кого смог, выкупил, но ни один не выжил после рабства. Вот тебя никак не мог найти.

– Я всё время работал здесь, – пожал плечами Этьен; ему хотелось прервать разговор, но он знал, что едва ли ещё представится возможность, горько-сладкий случай поговорить по-французски. – Меня продали горшечнику, у него я работал семь лет, а в двадцать или чуть больше меня купил отец нынешнего моего хозяина, и с тех пор я здесь. Я не ропщу. Это испытание ниспослано Господом.

– Я никогда не любил Книгу Иова, – поморщился Теофиль. – Кстати, говорят, сейчас в Риме решается вопрос о твоей канонизации.

– Напиши им, что я жив! – резко крикнул Одноглазый, повернувшись всем корпусом к собеседнику. – Напиши им, что – недостоин. Ещё не достоин.

– Ах, ещё? – закивал Теофиль. – Я тоже так думаю. Я думаю, что и никогда не будешь достоин. Едва ли, с христианской точки зрения, да и с моей тоже, для того чтобы стать святым, достаточно вогнать в могилу пятнадцать-двадцать тысяч мальчишек.

– Они на небесах, – отозвался Этьен глухо.

– Надеюсь, – резко перебил Теофиль. – Но, мне кажется, это был не лучший из путей в рай.

– Не нам судить.

Теофиль внезапно стиснул рыжеволосой рукою украшенный самцветами эфес кривой сабли:

– Да? Но скажи-ка мне, Этьен, почти святой Этьен, не думаешь ли ты, что ОНИ имеют право судить тебя? Мы?

– Не ты, отступник! – яростным клёкотом оборвал его Этьен и закашлялся. – Не ты, обрезанный пёс в чалме, продавший

свою веру. Чем заслужил ты этот кафтан? Каким кощунством купил эту лошадь? В чьей крови твой дамасский клинок?

– Да, ты же тоже не знаешь моей истории, – спокойно кивнул Теофиль, взяв себя в руки, – а она стоит сказок Шахразады. Ты мог видеть тогда, на рынке, что меня купил пожилой купец. На моё счастье, он не приметил тебя, ты бы приглянулся ему больше, красавчик Этьен. Но он был очень добр ко мне, мой первый господин, он одел меня по своему вкусу и хорошо кормил – тогда было модно иметь рыжего отрока-раба. Он обучил меня грамоте, дорогой Этьен, он, а не брат Николас дал мне возможность прочесть Евангелие. Правда, по-арабски, но в детстве хорошо усваиваешь языки... А потом он дал мне прочесть Коран, и за это я не менее благодарен ему – больше! А потом – он умер, и его друг помог мне устроиться в мамелюки к султану; теперь, через тридцать с лишним лет, у меня есть дом, жена. Рабы, генеральский чин и слава лучшего толмача с французского и итальянского во всём Генштабе.

– Что ж, – сухо ответил Этьен, – ты дорого заплатил за всё это. Ты пожертвовал спасением своей бессмертной души. Как, кстати. Тебя теперь зовут, генерал – не могу же я называть тебя Теофитом-Боголюбцем?

– Да, в самом деле, – кивнул мамелюк. – Меня нарекли так же, как почти всех новообращённых, – Абдаллах, то есть Раб Божий. И мне нравится это имя.

В голосе его прозвучал вызов, и Этьену почудилось, что за этой бравадой кроется страх перед геенной огненной; одноглазому невольно сделалось легче. Но Абдаллах продолжал:

– И знаешь, почему мне нравится это имя? Потому что когда гневный Бог Корана обращается со своими РАБАМИ так, как мы видели всю жизнь, – я могу это понять, могу принять. Но когда добрый Бог Евангелия обращается с теми, кого назвал: «ДЕТИ мои», так, как с тобою, Этьен, как с безумным Клодом, как со всеми двадцатью тысячами Невинных, как с миллионами невинных по всему Кругу Земному – это мне понять не под силу, и если я позволю себе задуматься над этим, то отсюда, боюсь, будет недалеко до худшего греха, чем мои. Я едва ли попаду в рай, но в ад предпочту попасть за то, что убивал врагов на войне этой саблей, а не детей и товарищей своим словом. И если на этом дворе и есть невинный, то это не я, но и никак не ты! Вопрос, чья вина больше?

– Я не хочу слушать тебя! – крикнул Одноглазый. – Изыди, искуситель!

– Не искуситель, – строго поправил Абдаллах. – Я ничего тебе не предлагаю, потому что знаю: ты не пожелаешь взять. Это, конечно, не помешает мне дать, и я не уйду с этого двора, пока мой старый... товарищ не станет свободным; я выкуплю тебя, но ничего не прошу за это.

Этьен молча отмахнулся.

– Нет, – покачав головой, продолжал гость, – я не искуситель твой, полусвятой Этьен Денинский. Я, последний ветеран Детского крестового похода – твой судья.

– Мсти, пёс! – закричал Одноглазый, и слёзы покатались во его бурой щеке. – Мсти за всё, как принято это у вас, басурман!

Абдаллах улыбнулся:

– Я прочёл твоё Евангелие, Этьен, а ты не прочёл моего Корана. А там написано: «Воздаянием зла – зло, подобное ему; но кто простит и уладит – награда его у Господа. И я прощаю тебя, Этьен из Денина, я, Абдаллах аль-Френги, я, Теофиль-побирушка. Прощай и ты.

Одноглазый не ответил – он молчал, глядя в землю; пожав плечами, генерал подозвал хозяина мастерской и, указав на раба, сунул ему в руки кошель, потом вскочил на коня и, крикнув: «Если захочешь, меня легко найти, Этьен!» – умчался прочь.

Этьен не шевельнулся, пока не затих цокот копыт; потом молча поднял молот и ударил по камню. Хозяин тряхнул его ха плечо:

– Ты свободен, Одноглазый, ступай куда хочешь.

– Не мешай, – сказал Одноглазый, – я делаю своё дело, – и снова ударил по каменной плите.

РАЗГОВОРЫ БЕЗ СОБЕСЕДНИКОВ

1. КОРОЛЬ

Пьер, Пьер! Прости меня. Я не виноват перед тобою, я всё объясню. Ты поймёшь меня – ведь и при жизни ты был единственным, кто меня понимал. Я не мог тебя спасти – ведь против тебя были все бароны, и попы, и королева. Видит Бог, я делал всё, что только мог. Но дьявол, которому давно обречены были наши души, торопил, он хотел скорее завладеть ими. Может быть, мне следовало пойти вслед за тобою, самому наложить на себя руки, повести войска на шотландскую границу, вызвать на поединок Брюса – не знаю... Но мой сын, мой маленький Эдди – ты помнишь его, он один во всём нашем доме, проклятом доме английских королей, любил тебя, ласкался к тебе. Потому что видел: ты дороже всех его отцу... Я боялся, что если я погибну, погибнет и он. Ланкастер, Моубрей, Мортимер – они не посчитались бы с тем, что он – сын короля. Эта дьяволица, которую мне приходится звать своей супругой, давать ей то, на что имел право только ты, – она отдала бы его под опеку Ланкастера, и только Бог знает, что бы из этого получилось.

Но я знаю, не в этом ты винишь меня. Ты сам любил жизнь, ты сам не захотел бы тогда моей гибели. Но Спенсер – он должен казаться тебе злодеем, а я – предателем. Но послушай... Ты ведь помнишь Хью Спенсера, знаешь, как он хорош собой, и отца его ты знаешь. И меня тоже. Когда мне привезли твою голову, бледную, слепую, со сгустками крови в тех дивных каштановых волосах, которые я так часто перебирал, когда в последний раз приник к твоим губам – они пахли уже не шафраном, совсем не шафраном! – я понял, что теперь мне непосильно оставаться таким, каким я был. Пустота, страшная, чёрная пустота в груди – и ни одной мысли кроме: «Пьер умер». Четыре дня я был между смертью и безумием, и все эти дни – они стоят годов! – королева и бароны заставляли меня выслушивать какие-то глупости о наших поражениях в Шотландии, новых налогах, длине шпор, полагающейся виконтам, и так далее. А за всеми этими их словами сквозила безудержная радость, гордость, торжество, триумф: «Мы смогли справиться с тобою, король, мы отняли у тебя всё, за что ты держался, теперь ты наш!» И вот, когда Хью подошёл ко мне и упал на колени, прося, умоляя, чтобы его не посылали против Брюса, – он вдруг показался мне похожим на тебя. Не смейся, я знаю, что твои горячие карие глаза, твоя смуглая гладкая кожа совсем не такие, как у этого белокурого

юноши с глазами голубыми и прозрачными, испуганными – а ты ничего не боялся! – и в то же время озорными... Но он смотрел на меня без ненависти, без торжества, без насмешки – только с надеждой, он показал мне, что я ещё король Англии, что я ещё могу что-то сделать по своей воле, сделать человека счастливым, таким, как были мы с тобой совсем недавно. Я отменил приказ Ланкастера о походе – что мог принести он, кроме нового поражения? – я приблизил его к себе, этого юношу, и благодарность, светившаяся в его лукавых глазах, была для меня утешением. Потом я говорил с его отцом. Этот старик – самый умный человек в Британии, и когда бы он родился королём, нам не пришлось бы терпеть все эти беды. Это не Ланкастер – это настоящий политик, истинный мой друг, и я чту его, как отца. Они чем-то похожи – мой покойный отец и этот старик.

А когда француженка позвала меня к себе, в спальню, когда я увидел, как даже ненависть в её глазах угасает, сменяясь гордостью и торжеством, – вот тогда всё и решилось. Она ещё могла спасти себя и своих приспешников, но посмела упомянуть о тебе – гадко было слышать твоё имя из этих змеиных губ! Я ударил её, первый раз в жизни ударил даму, и тут ко мне вернулась сила, я снова стал таким, каким ты помнишь меня по нашей юности, каким любил меня мой отец. И чтобы сделать ей больно, дать понять, что, убив тебя, она ещё не убила меня, я вызвал к себе в спальню Спенсера. Он неглуп, Пьер, право же, неглуп – он сразу понял, чего я хочу. И хотя я не чувствовал в нём ни искры любви, не любил его и сам – разве кто-нибудь может заменить тебя? – но какая-то прелесть в нём была, и его прозрачные глаза, и стройное, крепкое тело... прости меня, Пьер!

А Ланкастер мёртв, и Моубрей, и Клиффорд, а Мортимер в тюрьме. Может быть, ТАМ тебе от этого хоть немного легче.

2. ФАВОРИТ

Я, конечно, добрый католик, но в языческих поверьях что-то есть, ей-богу! Ну вот взять бы хоть Фортуну с её колесом. Я так и вижу её, и она больше всего может объяснить мне, что произошло. Ведь я никогда не мог надеяться ни на звание лорда-камергера, ни на Глостерское графство. Наоборот, я всегда говорил себе: «Хью, ты маленький человек, и раз уж даже папаша ничего не смог достичь в этой жизни, то тебе и подавно нужно сидеть тихо и не искать ни славы, ни почестей. Довольствуйся тем, что у тебя есть, – маленьким поместьем, хорошим здоровьем и смазливой рожницей, а на большее рот не разевай». И отец всегда хвалил меня за это, а он-то мало кого хвалит.

Но эта самая Фортуна – баба и есть, да ещё и ревнивая. Думал ли я, что моё лицо и тело сыграют такую шутку со всей

Англией? Я ведь и в мыслях ничего такого не держал, когда добивался приёма у Эдуарда, – мне тогда только бы и хотелось избежать шотландского похода. Ну, а когда я увидел короля, эта древняя ведьма и шепнула мне на ушко: «Хью, тебе может повезти не меньше, чем Гевстону». Я же видел его, и без ложной скромности – на вид он был ничем не лучше меня, да ещё тощий и смуглый. «Хью, говорит она, проси пожалобнее, пусти слезу, но всё время следи за собой, чтобы твои глаза, упаси Господи, не покраснели, а смотрели прямо в лицо королю – а дальше сам поймёшь, что тебе делать». И я понял, на это уж у меня ума хватило. Я не девушка, чтобы быть таким щепетильным насчёт чести, и только я заметил, что приглянулся Эдуарду, как постарался воспользоваться этим. Поначалу было трудно – при всём моём опыте в амурных делах нужно было придумывать совсем новые ужимки – ведь не барышне надо было понравиться, а королю Англии. Но тут уж у меня нюх есть! Да и Фортуна меня не оставила.

Ну, дальше-то всё пошло как по маслу. Раз! – ни в какую Шотландию не идти. Два! – явиться в спальню к Эдуарду и выполнять королевскую волю (не слишком приятно, но игра-то стоит свеч). Три! – и я граф Глостерский. Четыре! – и я лорд-камергер, а папаша первый королевский советник. Как сыр в масле катался. И всего-то надо было – ругать королеву, хвалить покойника Гевстона и слушаться короля (а иногда и покапризничать – тогда сам король начнёт слушаться). Ему, кажется, взбрело в голову, что я по уши в него влюблён, – думайте, ваше величество, на здоровье, я специально попа завёл переводить мне древние объяснения в этой любви. Да и грех не ухватиться за случай, раз уж ему нравится доказывать королеве, что он на неё плевать хотел, а мне нравится быть лордом-камергером, и прочая, и прочая...

Да, королева... Это, конечно, дама опасная. Как всякая женщина с женщиной, она столковалась с Фортуной, а Мортимер рад стараться – и я вместе с отцом вылетаю из Англии, как стрела из арбалета. Но денег много, а Фортуна переменчива. Несколько месяцев – и я опять при дворе, а Мортимер – за решёткой, а Ланкастер с компанией – на плахе. И что мне теперь королева?

Я, конечно, не разбираюсь в политике, мне эта тема совершенно безразлична, пока речь не идёт о моей шкуре, но зато отец раскомандовался вовсю. Парламенту они с Эдуардом дали такую силу, о которой тот и думать не смел, а кому парламент должен быть благодарен? Не лорду ли камергеру Хью Спенсеру?

А вот когда началась заваруха во Франции, тут мне действительно пришлось туго. Если бы Эдуард отправился к своему августейшему шурина, королева бы его живо скрутила – он

ведь человек слабый (мне иногда даже жалко его, хоть он и король). Но папаша мой – голова, спорить не приходится. Он придумал послать во Францию принца Эдди, а что тот не вернулся – не велика беда, я вовсе не против того, чтобы парнишка правил этими герцогствами во Франции и держал при себе свою матушку – чем она дальше, тем лучше для меня, да и для короля.

Только что-то мне последнее время слишком уж везёт. А когда человеку слишком везёт, это значит, что вот-вот Фортуна повернёт колесо, и он полетит вниз. Ох, леди Фортуна, делайте как вам угодно – не мне на вас роптать! Но как бы это всё не кончилось очень скверно для бедняги Хью!

3. КОРОЛЕВА

Пресвятая дева Мария, укрепи меня! Я всегда уповала лишь на тебя, даже когда у меня было, на кого ещё уповать. Но теперь, когда пришла пора возвращаться в Англию, во второй раз покинуть мою милую родину, – мне это страшнее и больнее, чем тогда...

Тогда – тогда я не знала, куда я еду, кто меня ждёт, но понимала, что за дурного человека отец меня не отдал бы. Да он и не был в ту пору так плох, и когда я ступила на английскую землю и впервые увидела своего жениха – высокого, статного, в шитом золотом плаще и с короною на голове, – я обрадовалась. Таким я представляла себе Тристана из поэмы господина Беруля. О, если бы я знала, кто стоит в свите у меня за спиной, – это был сам дьявол, дева Мария, или один из его прислужников. Если бы я тогда же отослала его! Но я не заметила, глупая девочка, что, скользнув по мне взглядом, король остановил его на Жевестоне. А тот сразу, сразу понял, какую добычу даёт ему нечистый. Бедный Эдуард!

Да, я любила его, как только может жена любить мужа. И сын его, мой мальчик, был ещё плодом любви. Но когда я лежала, обессиленная, а служанки обмывали новорожденного, леди Клиффорд шепнула мне: «Теперь, когда у вас, благодарение Богу, родился здоровенький мальчик, нам уже не важно, грешит ваш супруг или нет, – ведь там-то у него сына не будет». Я ничего не поняла, и только потом узнала, чем оказался этот гасконец из моей свиты. Ты знаешь, Пресвятая, в каком ужасе я была, ты знаешь, что я едва не лишила себя жизни, данной мне Господом. Но Он уберёт меня от греха; почему же не уберёт Он Эдуарда?

И всё же я терпела, пока у меня хватало сил. И всё же я принимала это как волю Божью, не понимая, что это козни дьявола. Но когда этот злодей стал править вместо короля, когда он казнил столько благородных рыцарей, которым когда-то за-

видовал на моей родине, когда король отлучил меня от своего ложа, – тогда я призвала Господа, дабы Он свершил тот суд, какой свершил некогда над Содомом. Но Небо молчало.

И тогда я поняла, что мне нужно действовать самой. Честный Ланкастер, верный Мортимер и другие бароны спасли меня от позора – гасконец лишился головы. Большой грех радоваться чужой смерти, но мне он простится.

Я вновь пришла к Эдуарду, но он отослал меня. А потом появился этот Спенсер – и я поняла, что проклятие лежит на этом доме, проклятие за смерть святого Тома. Что я могла сделать? Он ведь не любил Спенсера, если б он хотя бы любил его, как прежде Жевестона, то это сняло бы с него часть греха. Но король блудил с ним лишь ради того, чтобы причинить боль мне, и прощения ему нет. Я прокляла его в тот же час, когда он ударил меня.

Знаю вину свою, дева Мария, я тоже грешна, и грех мой столь же стар, сколь и грех того человека, который смеет называться моим супругом. В тот день, когда мы сыграли свадьбу, я заметила сурового и прекрасного, как Ланселот, рыцаря. «Кто он?» – спросила я у короля, и тот ответил: «Мортимер». Но я лишь взглядом – даже не помыслом, а лишь взглядом согрешила тогда. И лишь после появления Спенсера, когда я лежала, бессильная, и плакала, забытый образ сурового рыцаря встал передо мною, и я поняла: это тот, кто поможет мне отомстить. Мечь – дурное дело, и ещё хуже того, когда ради неё совершается прелюбодеяние; но разве я изменила Эдуарду? Разве мог оставаться моим мужем тот, кто совершил ТАКОЕ? А Роже – он был и остаётся единственным искренне преданным мне человеком. И когда он сделает то, что должен сделать, и когда мы предстанем на Господень суд – пусть вся его вина ляжет на меня! Я помогла ему бежать из темницы, и я должна пойти за него – вниз...

Корабль скоро отправится, и я вновь ступлю на английскую землю, проклятую землю, землю греха! Ты милосердна, Мать Божия, ты не любишь крови и насилия, но эта кровь должна пролиться! И никогда Хью Спенсер не сможет гордиться тем, что одолел свою королеву, и никогда нечистый не восторжествует над архистратигом Михаилом! Я даю обет тебе, Дева Мария, совершить паломничество в Рим, если погибнет Спенсер... и если останется жив Роже. Охрани его, Пречистая!

4. РЫЦАРЬ.

Георгий, Георгий! Пред твоим алым крестом на белом нашем знамени склоняю я колена. Ты тоже был рыцарем, Георгий, и ты не отринешь Роджера Мортимера, который выполняет

свой рыцарский долг не так, как велят закон и сеньор, а так, как велит Господь и Англия!

Меня упрекают в жестокости. Да, я был жесток, и мне придётся быть ещё более жестоким. Но казнь Спенсеров я спасаю всю страну, и если мне суждено сгубить и короля своего – то лишь ради этого.

Выскачка Спенсер и его отец – ничтожные люди, но в их руках король Англии, а значит, и сама Англия. Я иду на сражение не против Спенсеров и короля, а против тех, кто губит страну, цвет страны – баронов. Они сами вложили мне в руку меч, когда отняли наши права и передали их парламенту. А где был парламент, когда мы бились с Брюсом, когда мы лишились Шотландии, когда пошли прахом все труды старого короля? Где был этот Спенсер, когда Француз грозил нам войною? Где был король Эдуард, когда по всей стране поднялись мятежи черни? Но он успокаивал чернь, когда надо было показать ей голову Брюса, и бряцал доспехами, когда надо было взять в руки плеть. Если бы ещё несколько лет ему удалось царствовать над Англией, она погибла бы самой плачевной смертью.

Георгий! Ты поразил змея, собиравшегося пожрать принцессу; дай же и мне сил поразить того змея в короне, который хочет пожрать Изабеллу! Я, британец, служу французенке – но неужели ты не знал любви, рыцарь Георгий? И я говорю, и обнажу меч против каждого, кто скажет иначе, что королева моя Изабелла – прекраснейшая, благороднейшая и несчастнейшая дама на земле, и мне должно служить ей опорой.

Я верю – на нас, на баронах и рыцарстве стоит Британия. Я верю – мы расширим её рубежи до Средиземного моря. Я верю – никакой грех не страшен и не противен воле Господа, если он совершается ради спасения Родины. И если корона возложена на голову недостойного, то наш долг, долг рыцарства, отдать её тому, кто вправе называть себя королём. Наследник ещё юн, и я чувствую, что он ненавидит меня; но он смыслённый мальчик, принц Эдди, и мысли его направлены верно. Лишь только он войдёт в возраст, как будет заключён мир на Севере и начнётся война на Юге, и Франция падёт под нашими мечами. Ведь что губит нас в шотландских походах? То, что никто не верит – и я не верю, – что Брюса можно сломить. Если бы такой человек сидел сейчас на нашем престоле, если бы нашёлся английский Брюс! Но пятьдесят лет воюем мы на Севере, и чего же добились? Шотландцам нечего терять, и потому они высоко ставят последнее, что осталось у них, – свободу. Но французы – это дело другое. И война с ними будет победоносной войною, если я ещё хоть что-нибудь понимаю в этом!

...Как медленно тянется время! Я не поверил бы, когда б мне сказали, что ждать известий из темницы – так же тягостно, как сидеть в ней. Я думал, что буду торжествовать, когда Эду-

ард окажется на моём месте, в цепях, в сточной яме. Но торжества – нет. И я, Роджер Мортимер, боюсь его – да, боюсь обречённого короля больше, чем живого. Ведь всё же это не спенсер и не Гевстон – это Король. Но ведь правое дело – казнить недостойного, святой Георгий, правое дело, если этим можно спасти всё

Что? Уже? Вы из Беркли? Вы сторожили бывшего короля? Я верю, что своё дело вы сделали чисто. Он умер своей смертью? Зачем вы мне-то лжёте? Но – хорошо. Завтра об этом должна знать вся Англия. Святой Георгий, я выполнил свой долг. Помогите мне теперь направить на верный путь наследника... и не отнимайте у меня королеву.

5. НАСЛЕДНИК

Отец! Я, король Эдуард Третий, говорю с тобою мёртвым, как никогда не говорил с живым. Я не помню твоего лица – так редко мы виделись. Мать всегда твердила мне, что ты дурной человек, но я никогда не верил этому. Говорят, что ты не мог одолеть шотландцев; но разве ты один мог бы это совершить, будь ты даже Цезарем? Ведь виновны в этом они сами, бароны, и этот Мортимер, который обвиняет тебя, отец. Это они не умеют воевать. Мортимер сам признал, что справиться с Шотландией нам пока не под силу. Как же смеет он винить в этом тебя?

Мать говорит, что ты грешил против заповеди «не прелюбодействуй». Да разве она может упрекать в этом тебя, если сама спит с Мортимером? Ты был мужчиной, а мужчина не грешит, если изменяет жене, или грешит совсем немножко; жена – это другое дело.

Они и убили тебя, я знаю! Мне всё рассказали твои тюремщики, когда я велел вздёрнуть их на дыбу: это мать и проклятый Мортимер приказали погубить тебя такой страшной смертью. Я помню, как твоё тело привезли в Вестминстер – такое лицо, наверное, было у святого Варфоломея, хотя они уверяют, будто ты умер сам. Но это они убили тебя – страшась даже сказать, как!

Я не помню, каким ты был при жизни, а так хотел бы помнить! А мать не давала мне видиться с тобою, и сам ты тоже почему-то скрывался от нас. Но если ты так делал, значит, это было необходимо для Англии.

Когда мне сказали, что я буду королём, я обрадовался и не подумал, что ты ведь ещё жив. Прости меня за это! И я не сразу понял, когда ты умер, что теперь у меня нет отца, – ведь мать всегда говорила, что ты недостойн быть им, что у меня никогда и не было отца. И только дядя Эдмонд говорил о тебе хорошо, а я не слушал его тогда, увлечённый тем, что открылось предо мною, – королём Эдуардом Третьим. И дядю убили, пока

я наблюдал турнир. А потом я сам заметил, что я не настоящий король, а настоящий – это Мортимер. Даже люди из его свиты были богаче одеты, чем мои. Я повторял Ей, что не хочу этого, но она отвечала: «Роджер – наш самый преданный слуга». И я верил, и считал, что она действительно благодарна Мортимеру за то, что он помогал ей удерживать власть – ведь я ещё маленький, хотя только тебе и признаюсь в этом, отец. Я ещё не мог править, и меня никто не стал бы слушаться.

Но лорд Вильям Монтегью обо всём рассказал мне – и про мать с Мортимером, и про то, что они убили тебя. Я ничего не понял, но он каждый раз, когда мог видеть меня, твердил потихоньку всё то же. И это оказалось правдой, когда я допросил твоих тюремщиков.

Я верю, ты сейчас в раю и смотришь на меня. Ты увидишь, что я уже не так мал, как они думают. Сегодня я приказал схватить Мортимера, и после суда его повесят – я предупрежу судей, чтобы они ни в коем случае не приговорили его к отсечению головы. Его вздёрнут, как виллана. А матери я больше не могу верить, и не могу видеть её, раз она тебя убила. Пусть покинет Лондон и живёт где-нибудь далеко. А я – я покорю Шотландию и Ирландию, и Францию. И пусть все говорят – я прикажу так говорить! – «Это совершил сын великого Эдуарда Второго!» И, может быть, если ты будешь слышать это с небес, ты порадуешься за своего сына.

ПОВОДЫРЬ

Человек с ореховыми глазами отнял флейту от узких губ и взглянул на слушателей:

– Вам понравилось?

– Превосходно! – сочно воскликнул дородный рыцарь в зелёном бархате. – Вы прекрасный музыкант!

– Где-то я слышал эту мелодию, – задумчиво произнёс оруженосец, – но где?

– Это старая мелодия, – ответил человек с ореховыми глазами, – но сейчас её почти не исполняют. Хотя она и кажется простенькой, не всякий, далеко не всякий сумеет сыграть её так, как надо.

– Ну, вам это вполне удалось, – одобрительно кивнул добродушный рыцарь, шаря по кошельку в поисках монеты.

– Нет, – покачал головою музыкант, – ни разу в жизни. Я много раз слышал, что играю хорошо, красиво, с чувством, меня даже уверяли, что порой мне удаётся будить музыкой чужие чувства... но ведь всё дело в том, какие... Если совсем не те, для которых создана мелодия, то это во многом лишает её – нет, не ценности, но смысла.

– Что до ценности, – улыбнулся рыцарь, – то ваше искусство я оцениваю в крону – держите. И выпейте за моё здоровье. А смысл – если это не мотив песенки, танца, боевого марша, то какой может быть смысл?

– Возможно, всё это вместе, – тихо заметил оруженосец; человек с ореховыми глазами спрятал монету и, поблагодарив, добавил:

– Известна ли вашей милости история о том, кого прозвали Гаммельнским Крысоловом?

– Что-то слышал, – кивнул рыцарь, не обращая внимания на то, как подобрался и напрягся его спутник. – Кажется, когда в Гаммельне расплодилось крысы, жители позвали на помощь самого чёрта, тот загнал тварей со всего города в реку, а потом, когда горожане не пожелали выполнить свой договор с ним – не то деньги уплатить, не то души продать, не помню уж, – чёрт увёл от них детей и то ли утопил их, как крыс, то ли замуровал в пещере... А какое отношение это имеет...

– Дело в том, сударь, – промолвил оруженосец чуть дрогнувшим голосом, – что Крысолов и крыс, и детей сманил, играя им на дудочке...

– Мой знакомый барон да Валанс рассказывал, что в Святой Земле он встречался с факирами – те тоже завораживают

змеёй игрой на дудочке, – с удовольствием поделился рыцарь. – Человек! Ещё две порции и кувшин вина!

– Осмелюсь заметить, – произнёс музыкант, – что вашей милости не совсем точно передали историю о Крысолове. Я сам видел его. И доподлинно знаю – может быть, лучше, чем кто-либо другой, – как и почему всё это произошло.

– Да ты не только флейтист, но и сказочник, – одобрительно потрепал его пухлой ладонью по плечу рыцарь. – Ну-ка, ну-ка, рассказывай! Надо же, очевидец такой замечательной небылицы!

– Это не небылица, сударь, – тихо возразил человек с ореховыми глазами. – Просто вокруг того случаяросло столько слухов, что люди позабыли самое главное: Крысолов был слеп.

Оруженосец, выпрямившись, опрокинул оловянный кубок и поспешно склонился над лужицей на столешнице, пока та не достигла рукава его господина; рыцарь неодобрительно покосился на него, но был уже слишком заинтригован:

– Как это – слеп? Слеп как крот?

– Или как Гомер, – откликнулся музыкант. – Вы ведь знаете, многие люди, потерявшие зрение на войне, в несчастном случае, от болезни, получают от Господа в награду изумительный слух – не просто чуткий, но и музыкальный. А иногда и дополнительные дары. Тот, кого называют теперь Гаммельнским Крысоловом, – вовсе не был чёртом. Это был человек, хотя никто не знает, откуда он взялся и как потерял глаза. Но однажды он проговорился мне: «Глазами я заплатил за другое...» А за что – не сказал.

– Может, он был соглядатаем, – предположил рыцарь. – Когда мы в Венгрии ловили шпионов, то выкалывали им глаза и резали уши – это отбивало охоту заниматься таким ремеслом.

– Не думаю, что Крысолов имел в виду именно это, – покачал головою человек с ореховыми глазами. – Но, как бы то ни было, он был слепец. А я, тогда мальчишка-сирота, служил ему поводырём. После Большого Мора слепых хватало, а я остался без кола без двора; этого человека я выбрал по двум причинам: во-первых, самому очень хотелось овладеть музыкальным искусством, а во-вторых... понимаете, ваша милость, из всех встречавшихся мне слепцов он казался – был! – каким-то самым уверенным, а стать поводырём такого человека всегда немного лестно.

– Пожалуй, – согласился рыцарь. – Вроде как канцлер при ином короле или, даже похожее, паж при Иоанне Люксембургском.

– Да, – кивнул музыкант. – А он, Крысолов, тоже выбрал меня по двум причинам: чувствовал, как люблю я и стремлюсь постигнуть его искусство, а кроме того... Он пришёл в деревню,

где я батрачил в тот год, мне не было и четырнадцати, и заиграл на рыночной площади. Все сбежались на его флейту – и мальчишки, и взрослые, побросав дела; я оставил корзину, которую тащил за хозяином, и тоже прислушался. Тот играл долго, а потом стал спокойно, увереннее, чем зрячий, пятиться спиной вперёд – и все, кто был на площади, потянулись за ним. Никто слова не произнёс. А я остался на месте: задумался над мелодией. Попытался понять. И когда вечером Крысолов – тогда его так ещё не звали – узнал об этом и расспросил меня, то согласился взять в поводыри. Всё же дороги были небезопасны, вы должны помнить, ваша милость...

– Грабежей хватало, – подтвердил рыцарь. – И калекам, конечно, особенно доставалось, а твой хозяин, видно, неплохо зарабатывал.

– Неплохо, – согласился человек с ореховыми глазами. – Но ему были дороги не столько деньги, сколько наслаждение тем, что никто его музыки не понимает, но все чувствуют, и пока он играет, оказываются в его воле. Однажды ему довелось заставить плясать под свою флейту трёх монахов, которые бранили его.

– Должно быть, это выглядело забавно! – расхохотался рыцарь. – Хитёр же был этот озорник.

– Я бы не назвал его озорником, – возразил флейтист. – Он помогал людям куда больше, чем мешал или вредил. От его музыки даже больным делалось легче.

– А крестьянчик он к себе не заманивал? – поинтересовался слушатель.

– Об этом речь впереди.

– Превосходно! Выпей с нами, музыкант – люблю такие истории!

– А что же произошло в Гаммельне? – тихо, но настойчиво спросил оруженосец.

– Не торопи! – оборвал его рыцарь. – Пусть сперва расскажет, как Крысолов девчонок ловил!

– В Гаммельне именно это и случилось, – промолвил музыкант. – Там действительно расплодились крысы, опустошили закрома, даже на детей нападали, а кошек рвали в куски. Эти твари были, клянусь, сами не меньше кошек.

– Почему бы и нет? – пожал плечами рыцарь, принимаясь за свиную ножку. – Я сам видел собак ростом с телёнка.

– И конечно, тужа мы и пришли: Хозяин знал, что подчинить своей воле крыс ещё легче, чем людей, – если делать это не словами, а иначе, вот как он... мы прошли по городу, и он наигрывал такую мелодию, что ни одна крыса не приблизилась к нам; а я, честно говоря, их опасался, хотя и верил в Хозяина. Правда, по дороге я увидел возле одного богатого дома девушку... ну, не стоит описывать, какой она мне показалась, – в об-

щем, самой красивой из всех, кого я когда-либо встречал; хотя, конечно, я был почти мальчишкой... потом я убедился, что она всё же не такая... – он быстро извлёк из флейты переливчатую трель, – а скорее, – и он насвистал что-то пронзительное, вроде марша.

– Забавная манера описывать девчонок! – хохотнул рыцарь; оруженосец же хмурился, словно пытаюсь что-то припомнить.

– Я даже споткнулся, – продолжал рассказчик, – и Хозяин спросил: «Что случилось? Неужели ты будешь уверять, что наступил на крысу?» – «Нет, – ответил я, – но там, возле большого нарядного дома, стоит самая красивая девушка на свете». – «Ты вырос, мальчик, – улыбнулся Хозяин, – но ещё не совсем. Подведи меня к ней, я хочу услышать, какой голос у этого создания. Спроси, где можно найти Гаммельнского бургомистра, – не подобает высвистывать такую персону к себе, как собаку, если хочешь с ним поладить».

Рыцарь хрюкнул от смеха.

– Я приблизился и спросил девушку – она была совсем юной, моложе меня, наверное, – и та ответила хрустальным ангельским голосом: «Господин бургомистр – мой родной отец». – «Проведи нас к нему, скажи, что по важному делу, – сказал Хозяин, а мне шепнул: – судя по голосу и запаху, ты прав, мальчик». И вот мы предстали перед Гаммельнским бургомистром, отцом фрейлейн Лотты, и Хозяин предложил ему свои услуги. Тот долго не желал верить, так что пришлось Учителю доказать ему своё мастерство, заставив бургомистрову собаку поцеловаться с Лоттиной кошкой.

Рыцарь трясся от хохота, но оруженосец лишь хмуро глядел на рассказчика исподлобья, да тот и сам не думал смеяться.

– «Ну что ж, фокусник, попытайся, – сказал бургомистр, – и если ты сделаешь с крысами такую штуку, магистрат прилично тебе заплатит». – «Двести талеров», – уточнил Хозяин. Бургомистр подумал и согласился, но как-то слишком быстро – похоже, что даже теперь он не поверил. «Впрочем, – заявил Крысолов, – это ничтожная цена. Убытки вашему городу от крыс гораздо больше, в тысячу раз больше, и вы – в том числе и вы лично, господин бургомистр, – ничего с ними не можете поделать. Поэтому я попрошу дополнительной платы...» – «Рано торгуешься, – буркнул тот, – сперва сделай дело». Нас проводили в гостиницу, накормили, уложили спать, но сон не шёл ко мне: я думал о Лотте. «То ты так дрожишь, мальчик?» – проворчал хозяин, но я не ответил, только спросил: «А не лучше ли нам не начинать прямо завтра – авось они накинут цену?» – «Недурно», – кивнул тот. Я-то просто надеялся увидиться лишний раз с фрейлейн Лоттой, но и Крысолов, оказывается, имел в виду кое-что другое. И вот несколько дней мы гостили в разорённом

Гаммельне, переселились прямо в дом бургомистра – оттуда сразу исчезли все крысы, что что тот был даже рад, – и пока Хозяин торговался, я старался почаще попадаться на глаза фрейлейн Лотте... Я был молод, ваша милость, я был совсем не таким, как теперь, – красивый румяный паренёк пятнадцати лет отроду, и вроде бы приглянулся девушке, и догадался об этом; и Хозяин тоже догадался. «Одного я никак не мог понять, мальчик, – сказал он как-то. – ты прекрасно чувствуешь музыку, так что я не в силах даже зачаровать тебя – настолько быстро ты всё понимаешь и начинаешь проигрывать у себя в голове ту же мелодию задом наперёд...»

Оруженосец резко выпрямился, сжав губы, но ни музыкант, ни слушатель не обратили на его внимания.

– «...А эта девчонка покорила тебя, непокорного моей флейте. Видимо, это действительно непростая девушка. Расскажи мне, как она выглядит». И я, глупый парнишка, рассказывал, рассказывал, сам наслаждаясь своими рассказами, и ничего не соображал. А на следующий день Хозяин заиграл на площади, и крысы со всего Гаммельна окружили нас, так что я даже испугался, видя кругом это мохнатое и глазастое серое море, ходившее ходуном; «Веди меня к реке», – шепнул Хозяин, не отрывая от губ флейты, и мы стали пробираться к Везеру, а серые твари расступались перед нами и катились следом, до самого берега. Там я остановил Крысолова, а он продолжал играть, и крысиный поток, перехлестнув склон, влился в зелёный поток; они захлёбывались и тонули, а Хозяин играл и играл, пока последняя не ушла под воду... А потом мы вернулись на площадь, к ратуше, и горожане приветствовали нас, как освободителей, и девушки бросали цветы, и члены магистрата вышли навстречу и пятьюстами талеров в кожаном кошеле, и бургомистр произнёс речь. «Пятьсот? – сморщил лоб Хозяин, пересчитывая монеты, – мало. Я требую дополнительной награды». «Я от себя добавлю сто талеров, – сказал радостный бургомистр, – и каждый домохозяин даст по полталера – ты станешь богатейшим человеком, Мастер Крысолов!» – «Мало, – повторил Хозяин. – Я прошу в жёны твою дочь, бургомистр города Гаммельна». Я опешил, и бургомистр, и все кругом опешили. «Ты с ума сошёл!» – крикнул отец, и я испугался, что Хозяин сейчас заставит всю площадь плясать под свою дудку, как тех монахов, но тут сама фрейлейн Лотта воскликнула: «Никогда, никогда я не пойду за слепого старика!» – и Крысолов согласился принять ещё сто талеров и по полталера, обещав завтра покинуть город. Но я-то видел, что Хозяин не отказался от своей затеи – не такой это был человек. Всю ночь я размышлял и понял, что он хочет высвистать фрейлейн Лотту за собою, как собачонку; представил, как мой старый, желтолицый и бельмастый Хозяин обнимает и ощупывает её, а она во всём ему покорна, – и поклялся, что не

допущу этого. На рассвете я через служанку передал фрейлейн Лотте записку, в которой попросил её с самого утра не выходить из дому и заткнуть уши. Ну, уши она, как я потом узнал, не заткнула. А ровно в полдень Крысолов вышел на площадь, простился со всеми и послал меня к Везеру – приготовить лодку для них с фрейлейн Лоттой и вернуться. Никакой лодки я не приготовил, но воротился и сказал: «Всё сделано, Учитель», – дрожа от страха, что он, такой проникательный, сразу разгадает мою ложь. Но Крысолову было не до того – он лишь кивнул, поднёс к губам флейту и заиграл. Как он играл! На площадь к нему высыпали десятки ребят и девушек, не старше Лотты, то есть лет до четырнадцати. «Она здесь?» – спроси Хозяин, и я злорадно ответил: «Нет». И тогда он заиграл ещё истовее, опираясь на моё плечо и шагая к Везеру, а за ним тянулось всё больше и больше детей, а он всё спрашивал: «Она здесь?» – и я откликался: «Нет». – «Этот мерзавец спрятал её в подпол! – крикнул Хозяин. – Спрятал, чтобы она не услышала музыки! Но пусть он побережётся!» Как он играл – Мастер Крысолов! Вам никогда не услышать такого!

– По мне, так и слава Богу, – ухмыльнулся рыцарь. – Судя по всему, если он и не был сам чёртом, то уж точно продал ему свою душу.

Оруженосец не шелохнулся, не проронил ни слова – бледный и неподвижный, стоял он у стола мраморной статуей, а человек с ореховыми глазами продолжал:

– Может быть, ваша милость; скорее всего, от нечистого было это искусство, но если бы вы слышали! Он шёл – и следом за ним полторы сотни детей, от самых маленьких, в хвосте, от почти моих ровесников; и когда он уже встал на самом берегу, то засвистал тот же марш, что третьего дня – крысам, и ребята пошли в воду, как крысы, все, словно замороженные! Лотты не было среди них, но тут я крикнул: «Она здесь, Учитель! В лодку, скорее в лодку, я сяду на вёсла!» – «Веди её за руку!» – приказал Крысолов и сделал шаг назад, но лодки-то не было, и он рухнул в Везер. Может статься, мастеру удалось бы заморозить и волны, но флейта выпала из его руки – я успел подобрать её, но тут и меня сбили с ног дети, отхлынувшие назад, и я потерял флейту, и десятки ног растоптали её! А крысолов погиб с сотней гаммельнских ребят...

– Благодарение Господу, – широко перекрестился рыцарь, – не хотел бы я повстречаться с этим исчадием ада! Будь он добрым христианином, не занимался бы крысами и девчонками, а утопил бы в Средиземном море всю турецкую армию, – и рыцарь почесал шрам над бровью, белёсый на пунцовом налитом лице.

– Не знаю, – задумчиво произнёс рассказчик, – думаю, и это было бы ему по силам. Ну, бургомистра, понятно, сместили,

а мне пришлось уносить ноги из города. Только однажды ещё, много тел спустя, довелось мне повстречаться с фрейлейн Лоттой – уже не фрейлейн, она вышла замуж, стала важной дамой и не пожелала даже послушать игру бедного бродячего музыканта. Нет, не потому, что вспомнила тот год, – я напрасно беспокоился о её ушах. Есть люди, которые неспособны слушать и слышать даже такую игру, как игра Крысолова, – не потому, кто сильнее, нет – просто не чувствуют музыки, им всё равно, Крысолов ли играл, или, скажем, я, или какой-нибудь солдат с волынккой... А мне на всю жизнь осталась мука – мука воспоминания...

– О погубленных тобой и твоим хозяином душах? – глухо спросил оруженосец; флейтист досадливо махнул рукою:

– Да мне-то что до них! Я, наоборот, кое-кого тогда спас... Но, вспомнив все мелодии Крысолова, я за тридцать пять лет так и не научился играть их так, как он, – и уже никогда не научусь! А мог бы! Мог бы! Так сам Хозяин говорил – кто в силах воспротивиться, тот в силах и научиться!

Он прикрыл глаза руками.

– Ну, значит, нам повезло, – вытер губы рыцарь. – Ты всё равно хорошо играешь, а рассказываешь ещё увлекательнее – никогда не слышал я такого извода этой истории. Вот тебе за неё целый талер. А теперь пора и на боковую, – и в сопровождении оруженосца он поднялся на второй этаж постоянного двора, где они остановились, в лучшую комнату почти без клопов.

Музыкант только через несколько минут пришёл в себя, увидел монету и, грустно улыбнувшись, спрятал её в пояс, а потом прикорнул у очага. Он спал и грезил странными, звучащими снами, когда вдруг кто-то толкнул его. Ещё не открыв век, он почувствовал у горла холод железа: над ним стоял оруженосец тучного рыцаря с обнажённым мечом.

– Меня ты не признал, ученик Крысолова, – прошептал тот, – а я тебя раскусил. В отличие от фрейлейн Лотты, я слышал ту музыку, в тот год, в том городе – моём родном городе! Я шёл за вами следом, ковылял, не обращая внимания на то, как падали в воду мой старший брат и сестра, мои товарищи, все остальные! Отчасти по твоей милости мне удалось уцелеть – у пятилетнего ребёнка слабые ноги, жил я на окраине и оказался в последних рядах – Крысолов утонул прежде. Но если ты думаешь, что я не узнал вчера в руках у тебя его флейты – той самой, вовсе не растоптанной нами, уцелевшими! – то сильно ошибаешься. Где она?

Лежащий спокойно прикрыл ореховые глаза:

– Не грози. Ты же знаешь, что слышавший игру Крысолова никогда не найдёт покоя, вечно будет искать гибели, чтобы избавиться от этой музыки... Ты искал смерти в боях с турками, я нашёл её здесь. Ничего, я уже понял, что ничего не сумею... и

что мне даже никогда больше не быть поводырём того, кто сам ведёт за собою толпы...

Он умолк.

– Где флейта? – яростно прошептал оруженосец, вздёгнув музыканта одной рукою на воздух.

– Отпусти, мне больно, прохрипел тот. – Она у меня в сумке. Но сперва убей – я не могу уступить её кому бы то ни было, пока жив...

Оруженосец бросил человека с ореховыми глазами на пол, одной рукою сорвал с его бока сумку, другой – вскинул клинок...

– Что тут происходит? – закричал появившийся на лестнице перепуганный хозяин постоянного двора, увидев оруженосца с окровавленным мечом и лежащее навзничь, неподвижно уставившись в прокопчённый потолок мёртвое тело.

– Ничего, – ответил воин, швырнув что-то небольшое и продолговатое в догорающий очаг. Пламя вспыхнуло, а оруженосец вытер клинок о куртку лежащего и бросил меч в ножны. – Просто этот бродяга хотел ограбить среди ночи его милость, господина рыцаря.

СОКРОВЕННЫЙ ЦАРЬ

...И храни, Господи, государя нашего Василия Иоанновича...

Окончив молитву, Георгий поднялся и, бросив на строгий лик Спаса последний взгляд, отошёл к лавке. Под тяжёлыми серыми сводами кельи мальчик казался совсем маленьким и жалким – худой, бледный, русоволосый, с большими испуганными серыми глазами и в слишком широкой для него рясе. Глядя на него, можно было посочувствовать: в то время, когда его восьмилетние сверстники с шумом бегали по лугу и плескались в Каменке, он был обречён сидеть в тёмной, угрюмой келье, не имея никаких развлечений, проживая каждый день так же, как предыдущий, – молитва, работа, не слишком обременительная, но однообразная и скучная, снова молитва, трапеза и опять молитва, и ни шагу без дозволения отца Вассиана или настоятеля отца Порфирия. Но он не знал иной жизни и своею был вполне доволен. Только иногда, по вечерам, лёжа на лавке под тонким грубым одеялом, он начинал мечтать о том, что там, за толстыми воротами, и когда ему снова позволят выйти; но тут же гнал эти мысли как греховные – ему было страшно: вдруг именно сейчас Господь возьмёт его душу, отягощённую мирскими мечтаньями? И, бормоча молитву, он незаметно засыпал.

Но как раз сегодня он снова должен был ненадолго увидеть волю. И вот уже грузный, седой отец Вассиан вошёл в келью. Тяжёлые вериги побрякивали под рясой.

– За тобой приехали, Георгий.

Мальчик поднялся и направился к двери: там стояли те же двое, что и год, и три тому назад в этот день. Между их тёмными спинами двинулся он по переходу во двор и к воротам. На берегу он оглянулся: неподвижный и нерушимый, как крепость, стоял Спасо-Ефимьевский монастырь, и мощные розовые его стены хмуро глядели на отрока узкими бойницами. А дальше, за зелёным свежим склоном, пряно пахнущим медуницей, за серой узкой лентою Каменки, на противоположной, золотисто-зеленоватой низине ослепительной белизною сиял под полуденным солнцем Покровский женский монастырь, куда они и направлялись; и из лодки Георгий смотрел на его ясные, блестящие купола.

Но радость вольного воздуха была слишком короткой. У ворот Покровского монастыря провожатые сдали его с рук на руки дряхлой монахине, и та повела мальчика по узким коридорам – таким же серым и унылым, как и в Спасо-Ефимьевском. Они приблизились к той же маленькой келье, что и год, и два

назад, и полная бледная монахиня прижалась к нему рыхлой щекою:

– Сыночек мой! Царевич мой сокровенный!

Ему было неприятно это ласковое прикосновение – он привык к суховатому, жёсткому и в то же время бесспорно доброжелательному обращению отца Вассиана; он него он и знал, что эта женщина, мать София – его собственная мать: он, вероятно, был обещан Богу при тяжёлых родах, и теперь они оба – в монастырях, друг напротив друга, и совершенно незачем вспоминать, как в нечистоте и скверне был он рождён, да и не всё равно ли, кем?

– Мать София, – произнёс он, вскинув на её заплаканное лицо серьёзные серые глаза, – не должно нам вспоминать прошлое, у нас ныне один Отец, Господь наш, и нехорошо нам обнаруживать плотское и кровное родство.

Хотя он и говорил всё правильно, всё же ему подумалось, что раз отец Вассиан ежегодно присылает его сюда, он не одобрил бы этих слов. Но толстая белая женщина была ему неприятна, она не укладывалась в привычку, и Георгия раздражали её всхлипы и непонятные, может быть, безумные слова:

– А от него приезжали... где ты, спрашивали... я им могилку твою показала, а они всё не верят... я им крикнула: не видеть вам, мол, сыночка моего, пока не воссядет он в бармах и царском величии...

Георгий не понимал её, но он видел и брата Иосифа, обезумевшего от влечений плотских и диаволова искушения, и отца Януария, обветшавшего разумом от старости; как неприятны и страшны ему были те юродивые, так и эта женщина. И он был рад, когда старушка снова отворила дверь: «Пора, мать София», и монахиня последний раз поцеловала его в хмурый лобик, и он опять вдохнул свежий воздух, и Покровский монастырь снова стал из серого белоснежным, и по синему небу мимо сияющих куполов бежали белые барашки и кричали высокие птицы. И даже его суровая обитель призывно розовела стенами, и он был рад, что возвращается. А потом до вечера, до ночи у него щемило в груди, и он тихо плакал о свежем ветре, стараясь не разбудить отца Вассиана.

...И храни, Господи, государя нашего Иоанна Васильевича...

Георгий вскочил на ноги. Теперь он уже мог выходить во двор – отец Вассиан непонятно объяснял это тем, что про него забыли. Но Георгий вовсе не чувствовал себя забытым: братия любила его, а перехожие калики, забредавшие в монастырь, умилялись на ясные глаза двенадцатилетнего отрока и на его серьёзное лицо. Он охотно слушал рассказы странников: они шли из Суздаля, и из Москвы, и из Иерусалима, и рассказывали

про святые места проще и понятнее, чем говорил с ним отец Вассиан. Тот уже совсем состарился, обрюзг, но по-прежнему истово истязал свою плоть, без усталости молился и писал по ночам, шурша пергаментом и порою изрыгая непотребную брань, которая, однако, нисколько не принижала этого святого человека в глазах Георгия: отец Вассиан негодовал на отступников и еретиков, а они, несомненно, этого заслуживали.

Порою, однако, и калики говорили непонятные вещи. Старик, уже два дня сидевший на ступенях монастыря и знавший наизусть Писание, рассказывал, например, что души усопших порою не отлетают прямо в рай и не низвергаются в геенну, а входят в иное тело, в народившихся в этот час младенцев. Вся братия негодовала на его кощунственные слова, и отец Порфирий отпустил его с миром лишь после заступничества отца Вассиана, внимательно выслушавшего старика и заключившего, что это, конечно, ересь, и ересь страшная, но её необходимо сначала узнать, дабы ведать, как с нею бороться, буде она произойдет в нетвёрдых умах. Старик ушёл, а настоятель и отец Вассиан долго ещё спорили о его речах, но, конечно, Порфирий не сумел перемочь своего собеседника и убедить его, что таких еретиков надлежит незамедлительно сжигать и заточать, ибо отец Вассиан, несомненно, был самым умным и красноречивым во всей обители, на всё находил ответ из святых книг и притом блюл устав строже всех, за что некоторые молодые монахи поглядывали на него недовольно и шёпотом передавали тёмные слухи о его прошлом. Потом Георгий спросил у него, что означали слова странника, но старец велел ему забыть их, и мальчик постарался послушаться.

Но сегодня пришли не калики и не убогие – в ворота громко постучались два воина, один постарше, а другой помоложе. Отец Вассиан радостно их приветствовал и имел с гостями долгую беседу, а кто-то из братии сказал Георгию, что это бояре Годуновы, родня первой жены покойного царя, Соломонии. Но Георгию это ничего не объяснило, ни о какой Соломонии он никогда не слышал, а государя Василия Иоанновича поминал только вкупе с супругою его Еленой.

Однако почему-то бояре очень заинтересовались мальчиком и долго его разглядывали, а потом тот, что постарше, нагнулся к Георгию и, сверкнув чёрными раскосыми глазами, спросил:

– Так ты и есть Георгий Сокровенный?

И мальчик подтвердил: да, он недостойный Георгий и скрывается в монастыре от мирских соблазнов. Сначала он хотел добавить к этому совет: пусть боярин тоже примет постриг и спасёт свою душу, но, глядя на блестящую кольчугу и потёртые уже, но ещё щегольские красные сапожки, решил, что тот не прельстится такою долею. В глубине души Георгий чувствовал:

будь он на месте боярина Годунова, разъезжай он каждый день на свободе под ясным солнцем, по зелёным полям и большим городам, где живут (Боже сохрани!) женщины, то и он бы ещё неизвестно что ответил на такой совет. Тут же он устыдился своих мыслей и густо покраснел, но боярин засмеялся, похлопал его по плечу и просил не забывать своих мирских родичей и молить за них Господа; Георгий солидно пообещал, стараясь пребороть смущение.

А воины ещё долго толковали с отцом Вассианом, и смеялись, и под конец разгневали-таки монаха, так что тот своим гулким, как из бочки, голосом накричал на них, обвиняя в блуде и почему-то в нетерпеливости. Георгий никогда не видел его таким взволнованным. А когда гости покинули обитель, отец Вассиан отвёл мальчика в келью, поставил на колени перед образом и велел молиться за упокой души рабы Божией Софии. Георгий догадался, что это он о его, Георгия, матери, монахине Покровского монастыря, куда мальчик уже давно не ездил, и что она умерла; но не огорчился, хотя и понимал, что это нехорошо. И засыпая, он думал о том, что смешливый послушник Никита обещал ему поймать одного из монастырских воробьёв и завтра показать. С этими приятными мыслями он и уснул.

...И храни, Господи, государя Юрия Васильевича...

Георгий проснулся в поту. Уже которую ночь снилась ему эта огромная, каких он никогда не видывал, церковь, где на него возлагали венец – с тех самых пор, как отец Вассиан открыл ему, что он, Георгий – сын покойного царя Василия Иоанновича, сын старший и законный престолонаследник, и что скоро, когда – неизвестно, но скоро его ждёт венчание на царство. С тех пор юноша никак не мог опомниться. Нельзя было не верить такому святому человеку, как отец Вассиан, да и не только святой, а и никто бы не стал лгать на смертном одре о таких вещах. И всё же никак не верилось, что мать София, его мать – бывшая царица Соломония, государем Василием Иоанновичем сосланная в монастырь за бесплодие и там неожиданно родившая сына – его. А значит, он, Георгий – родной брат царю Иоанну Васильевичу, и даже старший брат, и имеет такие же права на московский престол. Нет, это немыслимо! Но не лгали же отец Вассиан, и бояре Годуновы, зачистившие в монастырь родичи его матери... Однако разве смеет он, инок Георгий, сложить сан и отправиться в греховный, ну, не греховный, но мирской великий город, и спорить с самим царём, и с наследником Старицким, и отнимать у них то, чему они, наверное, так рады, – нет, это будет неслыханным грехом и скверною, и никак нельзя этого совершить!

Но настойчиво снились ему по ночам высокие царские хоромы, и Годуновы в их блестящих кольчугах и в новых, а не по-

ношенных плащах, – они ведь такие хорошие люди! – и... царица, он ещё не знал, какая царица, но снилась ему она похожей на ту девушку, которую видел он с башни на берегу Каменки, такой же тонкой, юной, красивой, с такими же пшеничными косами и в таком же алом сарафане, только, конечно, не полотняном, а парчовом, в жемчугах! И снилось Георгию, как в золотом шлеме едет он впереди дружины под стены басурманской Казани воевать с царицею Сумбекой, а за ним несут хоругви, и шагают стрельцы, и едут латники, и гремят пушки, и трубят трубы, как архангелы на иконе, и сам митрополит благословляет его на подвиг приобщения татарской земли к истинной вере. И снилось ему, как встречает он посреди поля того деревенского парня, который увёл тогда в кусты на берегу девушку в алом сарафане, и он, царь, может казнить его, а может и помиловать. И может построить для монастыря новую церковь и призвать лучших изографов расписать её, и пожертвовать на монастыри и бедных столько золота и серебра, сколько пожелает; и будут во всех церквях петь ему «Многая лета», и будут склоняться перед ним... Надо лишь обождать немного, ждать смиренно, как заповедал ему отец Вассиан, умирая, – пока можно будет отправиться в Москву... Ой, грех! Нету сил бороться против злого искуса!

И мечется на лавке Георгий, изгибая, как полоз, молодое семнадцатилетнее тело, и призывает святого великомученика Георгия и самого Господа помочь ему обуздать греховные помыслы. Но не святой стоит перед его глазами, а сам он в бармах и золоте, да та девка в ярком сарафане с берега Каменки... И, утомившись, в холодном поту, скрипя зубами, засыпает Георгий, чтобы вновь увидеть искусительный сон.

Быстро шли раньше годы, как чёрные зёрна чётки, сухо щёлкали на нитке, а потом, озарённые недобрым пламенем, тянулись, как вечная пытка ожидания. И вот дождался Георгий, и едет он между двух Годуновых к Москве. Не венчаться на царство, конечно, – объявиться, пока государь с войском стоит под Казанью, и если не минует Иоанна Васильевича татарская стрела, то тогда и сесть на престол вместо Старицкого, вместо сына, которого ждёт царица. А если живым вернётся государь...

Страшно Георгию, ёжится он в жаркой избе, где ночуют они на пути к Москве, и вспоминает того боярина, который полгода назад в разодранной одежде прискакал в их монастырь, сыпал серебро перед отцом Порфирием и молил постричь его. Не успел боярин спасти душу – нагнали его царские слуги, и оттащили от монастырских ворот, и слышны были ночью крики – отвечал боярин за слово и дело, а наутро качался, кивал разбитым, красным от крови безглазым лицом в мелкой воде Каменки.

Георгий видит себя на месте боярина, нет, ему страшнее – боярина кончали в спешке, а его в Москве много дней пытать могут. И умрёт он в муках, и пойдёт душа его во ад, за дерзновенность и гордыню...

Георгий приподнялся. Всё было тихо, только храпел усталый Годунов, оставивший дома беременную жену на восьмом месяце и плохо засыпавший. Георгий дрожал, представляя себе муки ада, видя, за какую суетную славу отринул он спасение души... В страхе глядел он в прорезь ставня серыми своими глазами – огромными зрачками во тьму. И как последнее утешение ему вспомнились давние слова старого калики: не всякая душа отходит на небо либо в ад, но может возродиться в теле младенца. Он вспомнил и то, как внимательно слушал покойный отец Вассиан старика-странника, а теперь он не только сам знал, но и от Годуновых слышал, что Вассиан Патрикеев слыл и был умнейшим человеком и в монастырь из Москвы был сослан за то, что противился разводу царя с Соломонией, матерью Георгия...

Матерью ли? Он припомнил могилку младенца, рождённого матерью Софией. Кто знает, не спит ли в ней настоящий царевич, а из него Годуновы, быть может, желают сделать самозванца, своего ставленника... Правда, какое-то давнее, неясное видение смущало его: бледная рыхлая монахиня, роняя тёплые слёзы ему на лицо, шепчет: «Не видать, говорю, вам сыночка моего, пока не воссядет он в царском величии...» Но была ли она, эта женщина, или только снилась ему, или лишь сейчас измыслил он мнимое воспоминание – Георгий не мог понять. Понимал он одно: если он царевич, то не случится беды, коли и ещё двадцать пять лет никто не узнает про него. А ежели нет – если он самозванец, – тогда не будет ему прощения от Судии Всевышнего. Простится – обмануть человека, простится – двух Годуновых, но всю Русь обмануть – непростимый грех. И лучше ему погибнуть, чем принять такое на душу.

Георгий бесшумно слез с полати и выскользнул во двор. Кони дремали, изредка шевеля во сне ушами. Он тихонько разбудил своего жеребца, не дав ему заржать, оседлал и вывел на белую под луною дорогу. И поздно хватились Годуновы на стук копыт – Георгий был уже далеко, скакал по Казанской дороге на смертный бой с басурманами и со своим греховным дерзновением.

Там увидел он молодого царя и облегчённо вздохнул, ибо не был Иоанн Васильевич нимало на него похож. И, вздев бронь, достав щит и копьё, ринулся Георгий к дымящемуся пролому в стене, крича сухим горлом славу царю и Господу. Конечно, он забыл и думать про давнего калику.

Но в ту минуту, когда закачалась в его широкой груди серопёрая татарская стрела, где-то далеко в первый раз запищал на руках у повитухи сын боярина Годунова.

...И благослови, Господи, государя нашего Бориса Феодоровича!..

НАСЛЕДНИК

Ну что ж, дорогой Горацио, по-моему, похороны удались на славу. Моя речь, возможно, была немного суховата, но приходится экономить для коронационной – я-то в университетах не обучался, так что оратор скверный. Зато ваше прочувствованное выступление, бесспорно, растрогало всех присутствующих – особенно вот это место, как там... «Хотя Лаэрт, разумеется, вполне достойный человек...» и т.д. Ваша речь плюс мои гарнизоны – теперь приверженцы Лаэрта нам абсолютно не опасны; сам он тоже не мог бы оказаться большой угрозой, без Полония-то за спиной (этот иммигрант не простил бы мне своей родины), но мог бы сыграть на вашем датском патриотизме. А так – хвалю. Похоже, что вы действительно привязались к покойному принцу? Так я и полагал. Да нет, не смущайтесь, мне это вполне понятно – я ведь сам с ним однажды беседовал.

Ага, вы удивлены? Я, которому вы столько лет сообщали тайны датского двора, знаю о Гамлете что-то неизвестное даже вам? Всеведущим, Горацио, может быть только Господь Бог, а после него – король, запомните это. А не агент. Не хмурьтесь – в возмещение я удовлетворю ваше любопытство, хотя вы и не решаетесь высказать его вслух.

Где я встретился с Гамлетом? Когда король Клавдий отправил его в Англию в сопровождении Розенкранца и Гильденштерна, чтобы он нечаянно погиб там принародном волнении в процессе сбора Датской Дани, молодого человека, как мне сообщили – между прочим, вы же – по дороге захватили в плен пираты. Я очень удивился, получив это ваше донесение, – викинги берут в плен личность, называющую себя Датским принцем, отвозят прямо к столице, становятся на рейде и посылают гонца в Эльсинор с сообщением, что за принцем, а заодно и за ними, могут явиться стражники или те же гвардейцы Марцелло. Не правда ли, странный для разбойников поступок? Как же объяснил его вам Гамлет? никак? Так я и думал. Пираты пиратам рознь, дорогой мой Горацио. Одни плавают под «Весёлым Роджером», а другие вовремя поднимают норвежский флаг и честно именуют себя корсарами. Это был именно такой случай. И привезли эти ребята свою добычу, разумеется, не прямо в Эльсинор, а сперва в мою ставку в Польше.

Я был рад встретиться с ним лично – и по вашим донесениям он всегда представлялся мне особой небезынтересной, и сам я не мог не провести некоторые параллели. Его отец и мой отец воевали, Гамлет-старший одолел и получил во владение

часть спорной территории. Мне было пять лет, Гамлет-младший только родился. Потом я живу при дворе законного отцовского наследника, моего дяди, и учусь уму-разуму. Гамлет, в свою очередь, учится вместе с вами уму-разуму в Виттенберге, а потом его отец следует за моим, и он оказывается точно в таком же положении.

А я уже тогда, после смерти старого Датчанина, подумывал о реванше – землю-то покойный получил пожизненно, а не в родовое владение после того ледового побоища. И, как вы знаете, сделал вывод, что о мести может подумывать и мой датский сверстник, а кому мстить – это я знал лучше него и успешно доказал при помощи той замечательной штуки с призраком: вы проявили редкую изобретательность, а его любимый актёр, ту, который потом играл короля в «Убийстве Гонзаго», – немалый талант. Таким образом, наше положение окончательно уравнено.

И тут мой дядя заявляет, чтобы я не вздумал воевать с Данией и что король Клавдий, конечно, не старый Гамлет, но и я – не ровня моему отцу. Пришлось смириться, выговорить у Клавдия коридор для похода на Польшу и так далее.

У принца Гамлета положение было сложнее – для него-то дядя был не авторитет, а лютый враг. Честно говоря, я очень надеялся, что он немедленно поднимет мятеж, вроде как попытался Лаэрт, и тогда раздираемая гражданской войною страна сама, как наливное яблочко, упадёт нам в руки... ну, вы же были в курсе. Но тут принц проявляет редкую предусмотрительность: он не мстит, понимая, что доказать массам после царевубийства свои благородные побуждения ему удастся разве сто с помощью призрака (а он не знал, как их делают), а скорее всего все решат, что он просто поторопился получить по лествичному праву наследования отцовскую и дядину корону. И вот, как человек интеллигентный, понимает, что это несколько некрасиво и может не снискать всеобщего одобрения... в том числе и со стороны сопредельных монархов: мои войска как раз проходили через Данию на юг... И вот он начинает свою игру, старается сдержаться, изобличить короля и явиться праведным мстителем без малейших укуров совести и общественности.

Знаете, Горацио, как высоко я вас ни ценил, но у меня мелькнула мысль, что принц найдёт в себе силы, даже не ведая о сущности призрака, отказаться от мести, как отказался я, – хотя бы чтобы не огорчать матушку, ну, и не рисковать. Но тут Клавдий вздумал отправить его погибать за морем (он тоже соображал, что к чему), а принц об этом узнал (ведь это вы сообщили ему содержание письма к английскому королю, не так ли?). И вот тут, когда стало ясно, что ему придётся сражаться уже не только за паять отца, но и за собственную голову, он

делается решительнее – как там вы писали? «Готов отдать всё, кроме своей жизни, кроме своей жизни»? Ну вот.

И тут мои корсары – в самом деле случайно – захватывают его в плен и доставляют ко мне. Мы сидим в шатре на барабанах и беседуем. Очень интересно беседуем. Я даже узнал раньше всех (включая их самих), что «Розенкранц и Гильденштерн мертвы». И знаете, Горацио, он мне очень понравился, наш Гамлет! Он оказался действительно умён, несмотря на высшее образование. Мы потолковали по душам, рассмотрели все те аналогии, о которых я вам упоминал, и тут Гамлет поступил так, как я, может быть, и не решился бы. Он сказал мне:

– Фортинбрас, теперь я понял, что до вашего уровня мне не дорасти. Я не могу отступить от мести. Наверное, из меня получится плохой король.

Я вежливо, но сдержанно возразил, однако он отмахнулся:

– Нет, Фортинбрас, теперь я вижу – до вас мне не подняться, легче уж опуститься до уровня какого-нибудь неистового Лаэрта. И мне очень горько от этого. Так горько, что теперь я готов отдать всё, включая мою жизнь, чтобы поскорее покончить с этим... даже жизнь, не говоря о короне, для которой найдётся более подходящая голова, и я постараюсь, чтобы они не разминулись.

Я пожал ему руку.

– Но как, – воскликнул принц, – мне сохранить последнее – честь? Как стать тираноубийцей, а не цареубийцей, мстителем, а не претендентом, прогрызающим себе дорогу к престолу? Как изобличить короля?

– Принц, – ответил я, – неужели вам так важно, что подумают о вас всякие Озрики и Лаэрты?

– Отец велел мне отомстить. А за его тайную гибель нужно мстить явно и искренне...

И тогда, Горацио, я сам не знаю, что на меня нашло, – но я решил рискнуть. Я предложил ему план с постановкой «мышеловки», обещал прислать актёров, которые как раз были у меня под рукою после английских гастролей, даже заметил, что один из них лицом и статью очень похож на его отца... Не знаю, понял ли он меня; по-моему, понял. Но не подал виду, поблагодарил, и мы обсудили весь план – вплоть до того, чтобы я, вернувшись из Польши и проходя мимо Эльсинора, подал ему салютом сигнал: «Я уже здесь!» День в день так всё и получилось.

Не огорчайтесь, что он не рассказал вам об этом, – ему было очень важно, что думаете о нём именно вы... к счастью.

Кстати, я так и не понимаю, почему вы сообщили мне, что принц тучен и одышлив? прекрасный боец, вы в этом убедились, а я понял с первого взгляда. Лаэрт, конечно, напрасно не удосужился больше чем оцарапать его своей шпагой и так поло-

жился на яд – Гамлет-то чуть не пополам его развалил, и не подозревая ни о какой отраве, да и потом не слишком в неё верил – короля проткнул наповал, прямо в сердце. Он был настоящий рыцарь, принц-рыцарь, Горацио, такие не любят верить в яд. Как его отец был королём-рыцарем... тоже себе на погибель.

Но Гамлет опоздал. Время королей-рыцарей погребено с нашими отцами, сейчас нужно править совсем иначе. По-моему, это и заставило его лезть на верную смерть и завещать корону мне. А в коронационной речи мне ведь ещё предстоит повторить, что с его гибелью Дания лишилась замечательного монарха и доказывать потом, что я не хуже... помогите-ка мне подготовить это заявление, Горацио, вы человек образованный. Я буду лишним раз вам обязан. Вот и прекрасно.

Постойте, Горацио! Вы идёте не к той двери. Да, я знаю, что там ваш кабинет, но я же сказал, что обязан вам – а тем, кому обязан, и столь многим, король, приходится работать, к сожалению, совсем в других местах. Нет-нет, я же не тиран – вовсе не собираюсь казнить вас или вливать через тюремщика какую-нибудь гадость в ухо, что вы! Вас будут прекрасно обслуживать, все удобства – только полная секретность. Двору уже объявлено, что сразу после похорон вы отбыли в Германию, не в силах более переносить эту страну-тюрьму, по выражению покойного принца... Не сомневаюсь, что мы ещё не раз побеседуем ко взаимному удовольствию, а так – не обессудьте.

Марцелло! Проводите арестованного.

ПИСЬМА ПОСТОРОННИХ

На свете всегда – второй человек.

Ф. Достоевский, «Подросток»

Да, весь мир – театр, и все мы – персонажи
мировой драмы, но в лучшем случае второстепен-
ные, друзья мои, в лучшем случае второстепенные!

Н.Е. Крюков, из беседы

ПИСЬМО К МАТЕРИ

*Этолия, Калидон,
царице Алфее
с нарочным*

Дорогая моя матушка!

Во первых строках извещаю тебя, что у нас, слава Зевсу, все здоровы, чего и вам желаем, только вот Гилл объелся сливами и у него желудок расстроился, так что пришлось звать доктора. Сам Асклепий был на вызове, но его сын Подалирий тотчас приехал и выписал рецепт, и в тот же день всё и прошло. Жалко, что батюшка молодых врачей не жалует и всех их за шарлатанов считает, но ты Подалирию отпиши, пусть он пришлёт батюшке мази от его подагры; я ему сама сказала, да, боюсь, позабыл.

Идол мой уехал за конями царя Диомеда во Фракию и не пишет, как всегда, потому что никого грамотного с собою не взял, но зато прислали письмо из Фессалии, что он там у Смерти отбил молодую царицу Алкесту (кажется, так) и очень благодарят, и прислали подарки, а Гилл страшно захотел туда съездить и посмотреть, как там колдуньи луну с неба в блюдечко сводят, так что пришлось его выпороть.

А вообще болит у меня сердце за хозяина, потому что, хотя он там, конечно, с этой Алкестой по своей жеребьячьей привычке наверняка спутался, но это не страшно, а вот что он Смерть мог ненароком зашибить, это меня беспокоит. Так-то он, знаешь, мужик не злой, но коли распалится, то за себя отвечать не может, и я буду просить доктора Подалирия выписать ему справку, что он нервный и ни за что не отвечает, а то, если он Смерти ребро сломал или чего похуже, то Плутон может рассердиться, и тогда страшно подумать, что будет, потому что мой идол, конечно, и ним ругаться начнёт, как тогда с Аполлоном, и опять сболтнёт что-нибудь. Если ты про него что услышишь, отпиши мне, ради Зевса, а то у меня душа не на месте.

У нас тут все говорят о последнем скандале в Коринфе. Помнишь, я тебе писала о Медее, племяннице элидского Авгия, не к ночи будь помянут, которую Ясон (этот, из Иолка, что с мужем плавал, а у нас на охоте не был по молодости лет) привёз с дикого севера? Ну так они тогда не зарегистрировались, а он теперь вздумал жениться на Креусе из Коринфа, я о ней тебе тоже писала и узор для вышивки присылала, что она мне дала.

Так эта стерва, Медея то есть, страшно разозлилась и стала бешиться, как мой идол в молодости, и Креусу облила керосином и подожгла, вот ужас-то, совсем молоденькая была, и весь Коринф загорелся, не надо было Сизифу столько деревянных изб ставить, а вот теперь Коринф весь выгорел. А Медея эта, говорят, назло мужу родных детей зарезала, настоящее чудовище, все они на Кавказе такие, и сбежала в Афины. Там твой кум Эгей её принял и коринфским властям по доброте своей выдать не захотел, по-моему, это нехорошо. Я думаю, он хочет от неё сына, вот уж верно, что седина в бороду, а бес в ребро, а ведь его сынок у моей подружки Эфры растёт, она мне рассказывала, а я ей верю, потому что она хорошая, а что дура, так, значит, тем более не врёт. А Ясон-то куда-то скрылся, в матросы нанялся или, может, его на пожаре бревном придавило, и у нас тут все эту Медею очень осуждают, хотя и он тоже, конечно, поступил с нею некрасиво.

А в Фивах, говорят, что-то совсем дикое происходит, про Эдипа только я не поняла, то ли оказалось, что он отца убил, а на матери женился, то ли наоборот. Только я думаю, это люди врут, потому что к нам оттуда почти никаких вестей не приходит, никто через Перешеек не ездит из-за разбойников, а о них такое рассказывают, что я тебе и писать не буду, чтобы ты не переживала, и куда только полиция смотрит! Так что про Эдипа это всё, я думаю, неправда, потому что я его один раз видела, и он мне очень приличным человеком показался, и вообще когда-то со Сфинксом расправился, а то ведь такой ужас был!

А что ты пишешь про брата Тидея, что он совсем от рук отбился и хулиганит, так это, я слышала, называется теперь переходный возраст и скоро пройдёт, а что он не такой удачный, как братец Мелеагр был, так ведь в семье не без уroda. А я Мелеагра помню и большую охоту, хоть я тогда маленькая была и меня ко взрослым не пускали, но я многих хорошо запомнила, особенно Амфиарая. Ты знаешь, он сейчас стал пророком, почти как Тиресий, и у нас все его очень уважают, а он такой простой и добрый, и сынок у него такой славный и маму так любит. Мы к ним как-то на Дионисии всей семьёй ездили, он всё с мужем толковал, тот мрачнее тучи вышел, так что мы все долго его успокаивали, а я с Амфиараевой женою Эрифилой говорила, очень славная была женщина, только щеголиха страшная, особенно у неё бусы хорошие все были, а одета безо всякого вкуса; а Гилл всё с их мальчиком играл. Хорошие люди. Так вот я бы спросила Амфиарая про брата Тидея, только боюсь, что он что-нибудь страшное скажет, так что лучше не буду, а ты не беспокойся, он вырастет и образумится.

Ты не знаешь, это правда, что афинский Дедал сейчас на Крите? Я хочу ему послать денег, чтобы он мне сделал брошку, как у Эрифилы, а адреса узнать не могу, Эфра говорит, что её

отец говорил, что Тиндар говорил, что Дедал засекреченный: неужто опять война будет? А что Дедал тогда этой Пасифае, прости господи, корову сделал, так его за это и винить нельзя, он человек подневольный. Да мне и Пасифаю, по правде сказать, жалко, потому что хотя она и очень неприлично себя вела, но потом ведь у неё ребёночка сразу отняли и спрятали, то-то, бедная, наверно, наплакалась, а что у ребёночка голова телячья, так этому я не верю, потому что так не бывает. Так что напиши, что знаешь про Дедала, а то говорят, он с Крита улетел, и я этому могу поверить, потому что он, видно, всё может, раз у него даже статуи ходят, так что их привязывать приходится.

Кстати, о Крите: приезжал оттуда Радамант свататься к моей вдовой свекрови Алкмене, что-то она ему ответит? Он кривой весь, но на старости лет и такому жениху должна быть рада.

Я очень беспокоюсь за батюшку, он ведь уже старенький и всё болеет, а дядя Агрий может ему навредить, у них в семье все такие злословные, а ты ведь знаешь, как батюшка всё близко к сердцу принимает. Ты лучше дядю к нам в Калидон не приглашай, а батюшке я посылаю толстые шерстяные носки, чтобы он не простуживался и подагра его не так мучила. Говорят, что к нам (то есть в Калидон, а не сюда) снова собирается приехать Дионис по старой памяти, так это очень хорошо бы было, только ты не позволяй Тидею много пить, потому что он ещё растёт и ему это вредно, так доктор Подалирий говорит.

Как-то ты сама себя чувствуешь? Нету мне покоя, у тебя же после той охоты больное сердце, так что ты себя, пожалуйста, береги и поменьше волнуйся, у нас (то есть в Калидоне) места глухие и никто на них не зарится, а с Артемидою же батюшка помирился. А дядю Агрия ты не слушай, потому как он известный охальник, и все у него в семье такие, и дети – Ферсит и остальные – такими вырастут. Одевайся потеплее и не хлопочи так по хозяйству, как раньше, а если экономка плохая, так я тебе найду с рекомендациями из лучших семей, где моего идола знают с хорошей стороны, он ведь вообще-то добрый; ты только напиши.

Кланяются тебе и батюшке и дяде Агрию и всем родным муж мой Геракл, Иолай, Алкмена и Гилл, и все наши домочадцы –

БАБАШКЕ

– а это написала Макария, вот уже какая она умненькая.

Засим до свидания, и жду ответа, как соловей лета. Попроси кого-нибудь написать под диктовку.

Остаюсь твоя почтительная дочь

ДЕЯНИРА

ДВОЙНОЙ ДОЛГ

Самсон!

Я знаю, что не вправе писать тебе после всего, что произошло. Письмо слепому – это может показаться насмешкой. Но я дам преданному человеку заучить его наизусть, и ты выслушаешь его если не ради нашей любви, то хотя бы понимая, сколь многим я рискую, пытаюсь связаться с тобой, и сколь малым рискуешь ты. Выслушай же этого вестника, выслушай мою исповедь и не отвергай помощи.

Ты уже знаешь, что я нахожусь на службе в филистимской разведке. Но по доброй воле пришла я туда. Мой отец, вождь долины Сорек и вассал Совета Филистимского, был изобличён в подготовке восстания: он стремился избавить наши племена от диктатуры Совета, навязывавшего нам войны и поборы. Отца осудили и вместе с матерью сожгли на костре. Глава Совета вызвал меня и сурово рек:

– Тебе тринадцать лет, и как в силу твоей юности, так и в силу доказательств твоей непричастности к заговору, которыми мы располагаем, ты подлежишь помилованию, дева.

Я упала ему в ноги, но он оттолкнул меня сандалией и насмешливо спросил:

– За что ты благодаришь меня? За жизнь? Но ты ещё не уразумела, КАКАЯ это будет жизнь. Сорек и всё имущество твоего мятежного отца конфискуются. Тебе оставят лишь то. Во что ты одета сейчас. Как ты собираешься жить?

– Я пойду в жрицы Астарты – мне не пристало батрачить, – ответила я гордо.

– Нет, голубушка, – расхохотался Советник, – для того, чтобы попасть в священное блудилище, нужно иметь такое сильное покровительство, на которое тебе ныне никак не приходится рассчитывать. Ты станешь дешёвой потаскухой, не более того.

Я молчала от горя и стыда. Глава Совета обратился ко мне теплее:

– Послушай, Далила. Ни храм, ни улица не для тебя, прислуживать ты, дочь вождя, не станешь. Но, служа вместо Астарты нам, то сможешь загладить вину своего рода.

Тут я впервые подняла глаза, крикнула ему: «Похотливый козёл!» – самое грязное ругательство, которое знала, и приготовилась принять побои. Но он снова только рассмеялся, уверенно и снисходительно:

– Нет, девочка, ты неверно поняла меня – служить не мне, даже не Совету, а всему твоему народу. Мы будем посылать тебя к нашим врагам, и ты выведаешь их тайны и замыслы.

– Ах, вот что за женщина появилась полгода назад в доме отца! – воскликнула я. – Я никогда не стану предательницей и соглядатайкой!

– Благородно, – кивнул Советник. – Этого я и ожидал – ты достойная дочь своего отца. Ты не будешь предательницей – ты будешь разведчицей. Мы подготовим тебя и забросим в Иудею, где ты и выполнишь свой долг. Впрочем, если ты не чувствуешь за собою долга перед отечеством, – ступай, пока дверь для тебя открыта!

Я посмотрела в его чёрные глаза и сказала:

– Согласна.

Я прошла выучку, пробралась в Цор и Хеврон; первым моим мужчиной был какой-то вонючий писец – я украла его бумаги и бежала. Потом я снова возвращалась, соблазняла, подпаивала, выводывала – Совет, ценя моё сотрудничество, не скрывал от меня результатов моих действий, и, видя своими глазами пользу, приносимую мною отечеству, я не собиралась оставлять службу. Я работала всё лучше, получала награды – но кроме этого, у меня была и тайная цель.

С детства слышала я о Самсоне, сыне Маноевом, XII Судии Израильском. Я видела клочья шкуры разорванного тобою льва; я слышала твою загадку; наконец, в Израиле я встретилась с тобою, хотя ты не заметил меня тогда. «Вот, – поняла я, – человек, какие рождаются по одному в столетие. Вот сила, доблесть и красота, сопряжённые вместе». Не удивляйся слову «красота», ты и впрямь не красавец, и не мне льстить теперь, но мощь, исходившая от твоего лица, обрамлённого длинными кудрями, – я ещё тогда заметила их, – делала тебя прекрасным, как Таммуз.

Возвратившись, я не могла забыть о тебе; я выслуживала право на возможность увидеться с тобою. На твоей свадьбе я не видела от ревности ничего, как и ты не замечал меня – лишь твоя арфа и твой голос разрывали эту застилавшую всё пелену. Я ненавидела ту женщину. Когда казнили её и её отца – знай, это было делом моих рук. Но ведь ты не любил её, а я тебя любила уже тогда.

Шли дни, месяцы, годы. Ты сокрушал ослиной челюстью моих соплеменников, жёг лисьи хвосты, уносил ворота Газы (о, как я проклинала хозяйку того дома, в котором ты гостил и откуда выломал ворота!). Но всё это время я продолжала выполнять свой долг – искупать вину отца. Мне не было и тридцати лет, когда я получила звание Второго Ока Зерцала Филистимского (так называется наша служба). Тогда-то я и добилась, чтобы меня подослали к тебе.

Не стоит повторять нашего первого разговора; невозможно повторить нашей первой ночи. Я забыла обо всём; ты всё помнил. Мне не было дела до совета: я спросила по его заданию, какие ремни, или тетивы, или столбы удержат тебя – но, ещё спрашивая, знала, что ты обманешь. Совет грозил отозвать меня; я ответила: «Вы будете иметь дело с Самсоном». Тогда меня оставили в покое, и три месяца нашего счастья одурманили меня, как вино, которого ты никогда не пил. Вспоминая горе, помнишь каждую минуту; вспоминая радость, видишь, что всё слилось в один сияющий туман.

В то утро меня вызвали на явку, и я посла с неохотою, не боясь опоздать, – за мною было столько заслуг, что я могла себе это позволить. К моему удивлению, вместо обычного связного меня принял сам Глава Совета.

– Далила, – спросил он, – что это значит? Три срыва подряд в столь важном деле – и это у тебя, всегда так чисто работавшей! Что с тобою, девочка?

– Я не девочка, – сказала я, глядя в его чёрные глаза, – я взрослая женщина, и в этом – немалая твоя помощь. Но я устала, о Советник, я не могу больше. Я хочу подать в отставку.

– А я не устал? – возразил он. – Ты женщина, ты семнадцать лет служила своей стране не за страх, а за совесть, с тебя довольно, ты хочешь семьи и детей – так?

Я кивнула.

– Но я вдвое старше тебя, Далила, – продолжал он, – и ни минуты за сорок лет я не потратил на себя. Если ты можешь сказать мне, что кроме радости от работы ты не знала за эти годы иных радостей, то я соглашусь – ты в расчёте с нами, выдам тебе награду и отпущу – под надзором, конечно. Если это так, то скажи.

– Нет, – ответила я честно, – нет, вождь. У меня была любовь, и это лишь усугубляло бремя моих обязанностей.

– Самсон? – спросил он.

Я снова кивнула. Советник опустил свою совсем уже седую голову и глуха сказал:

– Ступай. Мы договорим завтра. Тебя проводит Анехат.

В сопровождении офицера я пошла по полуденной, безлюдной Газе.

– Я загляну к жене, – сказал Анехат, – подожди меня.

Он зашёл в какой-то дом, но через минуту я услышала его стон и знакомый рёв. Бросив взгляд за открытую дверь, я увидела окровавленного Анехата у ног пьяного разъярённого Самсона, а за руку моего любимого держалась голая женщина и визжала. Я опрометью бросилась домой. Вечером ты вернулся, ещё хмельной, и полез целоваться.

– От тебя разит вином, – сказала я. – Уходи! Ведь ты же не пил раньше.

Ты смутился и стал что-то бормотать про встречу со старым другом.

– Я видела этого друга, – сказала я.

Ты бросился на колени и, разразившись пьяными слезами, забормотал, что это – чушь, это – несерьёзно. И тогда-то я узнала тайну твоих волос и обета не пить вина. Ты отрезал свои кудри тупой бритвой и бросил мне в ноги.

– Немного, – сказала я. – Свою святость ты уже отдал другой за чаркой вина, – и, не дав тебе ответить, я ушла – ушла к Главе Совета. Как я проклинаяю себя за всё это! И за донос, и за то, что так обошлась с тобою в нашу последнюю ночь! Прости меня – сама я себя не прощу.

Тебя взяли сонным, сковали, ослепили; я смогла вымолить для тебя лишь жизнь.

– Ты сильнее Самсона, – сказал мне Советник. – Он побеждал войска, а ты – свою любовь. И оба вы делали это ради своих народов.

Он выдал мне награду – я не могла отказаться, боясь повредить тебе. Но вчера подписали моё прошение об отставке, я больше не связана ничем.

Слушай внимательно, Самсон, любимый мой! Выслушай меня в последний раз. За эти месяцы у тебя отросли волосы. Я сделаю так, чтобы завтра за тобою в темницу послали позвать тебя с арфой на праздник вот этого человека, который читает тебе моё письмо. Он отведёт тебя не в храм Дагона, а ко мне в дом. У меня много денег, у тебя – прежняя сила, на следующий день мы бежим в Египет, в Трою, в Элладу, куда угодно. Мы поселимся там, где нас никто не знает, и скроемся навсегда. Я приму твою веру, мы поженимся, у нас будут дети. Не отказывайся, Самсон, подумай. Мы оба имеем право отдохнуть – мы оба выполнили свой долг. Не появляйся завтра в храме Дагона!

Твоя ДАЛИЛА.

ПРИПИСКА РУКОЮ ГЛАВЫ СОВЕТА: слишком поздно доложили, ослы! Оба умерли, но погубили столько народу! Посланца повесить за нерасторопность. Имущество Далилы конфисковать на реконструкцию храма.

Газа Филистимская, от сотворения мира 4562,
Месяц Тебеф.

ЦИННА-ПОЭТ

Неотправленное письмо

*Луцию Крассицию Пансе,
собств. вилла под Тарентом*

Крассицию от Цинны привет.

Чувствую, друг мой, сколь велика моя вина: письмо твоё было получено вскоре после Сатурналий, а я только теперь, на закате Скорпиона, отвечаю тебе – тебе, которому я столь многим обязан! Единственным оправданием, мой дорогой комментатор, может служить моя непрестанная занятость, необходимость исполнения хотя бы тех фиктивных обязанностей, которые возложены на меня Городом, и беготня по издательствам.

Об успешности последнего занятия ты можешь судить по прилагаемой книге. Решительно, из всех личностей, кормящихся вокруг нашего высокого дела, Квинт Маллоний обладает наибольшим вкусом и наименьшей совестью. Ты знаешь, что меня трудно назвать богатым и расточительным человеком, но я боюсь даже писать тебе, во сколько мне обошлось это издание «Смирны» за свой счёт на сиреневом папирусе. Зато какое изящество во всём, начиная от почерка и кончая футляром для свитка! За эти два месяца издание стало антикварной редкостью, а если ты пожелаешь предоставить Маллонию и свой комментарий к поэме, то совершенство формы и содержания будет двоедено до предела.

Сам диктатор хвалил экземпляр, представленный ему мною, что, впрочем, неудивительно: «Смирна» всегда ему нравилась, хотя Корнифиций (он уже стоит одной ногою в могиле, бедняга! а ведь совсем ненамного старше нас) и намекал, что содержание поэмы особенно близко Цезарю. Конечно, это клевета, но клевета очень в духе времени, поэтому уничтожь, на всякий случай, это письмо. Я никогда не был слишком близок с Цезарем, но смею утверждать, что пороки его преувеличены молвою до непростительных размеров; горько признаться, но многие наши друзья, в том числе покойный Катулл, внесли в эту славу немалую лепту. Диктатор – отнюдь не развратник; даже мой законопроект о многожёнстве он в своё время не дал в последнюю минуту провести – а ведь этим узаконил бы своего сына от Клеопатры! (Говорят, очень способный мальчик!)

Но вернёмся, с твоего позволения, к **нашей** киприанке. Можешь ли ты догадаться, кого внезапно заинтересовал сиреневый папирус? Антония и Брута, людей, начисто лишённых ху-

дожественного вкуса. Первому пришлось по душе роскошь издания; я замолвил перед ним словечко за тебя, и консул собирается пригласить тебя в Рим обучать своего сына – не упускай случая, он далеко пойдёт! Что же до Брута, то он усмотрел в «Смирне» какие-то политические намёки; стоит ли объяснять, что это чистейшая его фантазия? Впрочем, бедняге сейчас скверно: ему подбрасывают анонимки с намёками на Брута Старого и явно втягивают в какую-то историю.

Вообще, как я завидую твоей тихой провинциальной жизни на собственной вилле под родным Тарентом! Свежий ветер с моря, шум листвы, блеяние стад, непритязательные крестьянские дочки и сыновья, любимые книги и далеко идущие исследовательские замыслы... ах, как мне недостаёт всего этого в пыльном, шумном Риме с бесконечными ссорами, спорами, листовками!.. Недаром наш молодой нелюдим Марон, кажется, собирается писать в духе Феокрита (кстати, у него недюжинный талант, да и покровители влиятельные).

Между прочим, о подмётных листках: накануне я сижу дома один, пишу свою «Эною» (уже перевалил за половину; выдерживать шуточный тон в большом произведении, не опускаясь до грубого зубоскальства, так нелегко! но не тебя мне об этом уведомлять), как вдруг входит раб и передаёт мне записку. Читаю: «Цинна! Решено окончательно – завтра в курии Помпея. Будь готов!» – и какой-то из обычных в последнее время лозунгов о свободе. Я ничего не понял, но в это время явился наш общий высокоучёный друг Артемидор; на нём не было лица, он шатался, как пьяный, потрясая каким-то свитком, и мне с трудом удалось успокоить его, так что он взял себя в руки и мы заговорили о происхождении пигмеев (кстати, какого ты сам мнения на этот счёт? На мой взгляд, совершенно невероятно гипотеза о том, что названные карлики – выходцы из Индии). Между прочим я показал Артемидору нелепую записку и начал предполагать, кто бы мог так подшутить. К моему изумлению, тот перечёл её несколько раз и, снова побледнев, воскликнул: «Это почерк Брута!» – «Что за чушь? – отвечаю я. – Зачем Бруту писать мне такую ерунду?» – «Он писал не тебе, Гельвий, – заявляет грек, – а Корнелию Цинне, который произнёс сегодня речь против Цезаря. Раб перепутал адрес». И не успел я прийти в себя, как Артемидор уже переписал текст записки на табличку и, поспешно простившись, ушёл; последние его слова были: «Цепь замкнулась, если я успею предупредить диктатора, он спасён!»

Как видишь, даже самым образованным людям в Городе непрестанно мерещатся заговоры; я боюсь уже беседовать с Азинием Поллионом – он в панике из-за дурных предзнаменований: рубиконские кони отказываются от овса, а в гробнице Капия обнаружено пророчество о новой гражданской войне и

т.д. Я, со своей стороны, смогу сегодня рассказать Азинию, что мне снилось этой ночью, как Цезарь чуть не силой тащит меня с собой на званый обед, хотя я сыт и сопротивляюсь. Не сомневаюсь, что этот сон можно истолковать любым образом (как и всякий другой); лично я опасаясь нового запора.

А теперь, дорогой Крассиций, оставим политику и побеседуем, как в старые времена, о прекрасном. Ты, конечно, уже читал Маронова «Комара»; в этом жанре я готов учиться у него – более очаровательной вещицы не припомню ни у кого из молодёжи. Мне хотелось бы, чтобы нечто неуловимое от этого настроения присутствовало в моей «Эное». Ах, мой друг, трагические сюжеты возвышенны, но иногда хочется повернуть стиль – даже Гомер написал «Войну мышей и лягушек»!

Кстати, о стиле и Гомере: появился некий Главк, эфесец, в высшей степени подозрительная личность, который продаёт за шестьсот тысяч сестерциев якобы подлинный стиль Гомера. Я осматривал эту штуку: ей не более пятисот лет. «Чем ты докажешь, что это именно его стиль?» – спросил этого главка Корнифиций. «Вот! – восклицает тот, показывая тупой конец, – вот следы зубов Гомера!» – «С чего ты взял, что именно Гомера?» – не унимается наш друг. Эфесец надулся и процедил: «И ты, поэт, не можешь узнать следов уст Великого Слепца?» – после чего издал неприличный звук. Мы вдоволь посмеялись над обоими; но самое смешное, что М. действительно приобрёл этот стиль. Несчастный неграмотный Гомер! Несчастный Рим! Несчастный век!

Написав эти слова, я услышал на улице какой-то шум; можешь укорять меня в непоследовательности, Крассиций, – я недавно бранил суету Города и восхвалял деревенский покой, но всё же любопытство берёт своё.

Будь здоров!

Гельвий Цинна

Рим, консульство Антония и Цезаря,

Иды марта 710 г.

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

1. ИЗОЛЬДА БЕЛОРУКАЯ – ИЗОЛЬДЕ БЕЛОКУРОЙ, 15 июня

Ваше Величество, госпожа Изольда, королева Корнуэльская!

Это письмо отвезёт вам мой брат, герцог Каэрдин Бретонский; это письмо пишу я, Изольда Белорукая, которую Вы, возможно, ненавидите; я пишу его я по просьбе моего мужа, Тристана Лионского, которого все мы трое любим – не будем сейчас спорить, кто любит больше. Довольно того, что все мы знаем, кого любит сам Тристан – мне он такой же муж, как Вы жена Его Величеству королю Марку. Не считите мои слова за дерзость – сейчас я должна быть откровенна, и Вы, я полагаю, тоже. Вы понимаете, что я не стала бы обращаться к Вам, не будь в том крайней необходимости. К сожалению, она есть: тот, кого мы обе любим, при смерти.

Всё это время Тристан не мог усидеть в моём – то есть его – замке: здесь им овладевала тоска и разочарование. Стоит ли говорить Вам, как измучен он был Вашей любовью, своей любовью, своей неверностью королю, Вашему супругу, своим безумием – и на мне он женился, надеясь избавиться от этой муки; моя ли вина, Ваша ли вина – это ему не удалось. За время нашего брака он провёл дома едва ли месяц – все остальные ездил по Бретани и окрестностям и совершал подвиги, как в силу своей благородной и рыцарской природы, так, думается, и затем же, зачем женился на мне. Он встретил рыцаря в беде – его замок захватили подлым обманом враги; рыцаря этого звали Тристан-карлик (хотя карликом он вовсе не был – высокий и статный витязь). Наш Тристан не мог отказать ему в помощи, не пожелав даже вспомнить, какое дурное предвестие – встретить своего двойника. Они отправились сражаться; замок был отбит; законный его владелец пал на поле битвы; мой муж тяжело ранен отравленным клинком и сейчас находится при смерти. Он верит, что исцелить его можете лишь Вы; я, увы, не уверена и в этом – мне приходилось обращаться к ворожеям и колдуньям (я надеялась, что если они волхвованием придадут мне сходство с Вами, это тронет сердце Тристана и поможет ему забыть Вас – тщетно; впрочем, это не относится к делу), и они говорят, что противоядия это отраве найти нельзя: моего мужа может спасти только покой и природные жизненные силы. Однако Тристан умоляет Вас приехать в Бретань вместе с Каэрдином; не знаю,

как Вам придётся поступить с Вашим супругом – думаю, что король, которого я глубоко уважаю, не обрадуется, узнав, что жена открыто бросает его и снова отправляется к любовнику, – но, думается, Вы сможете вновь обмануть его или просто добиться согласия – не секрет, что Тристан дорог ему так же, как нам, несмотря ни на что. И я присоединяюсь к просьбе мужа: быть может, встреча с Вами действительно совершит чудо, вернёт ему покой – исцеляющий покой... хотя я и не верю в это, но другой надежды нет.

Приезжайте, Ваше Величество, – это может спасти Тристана, может погубить его волнением, но в любом случае перелом в недуге неминуем. Прошу только об одном. Муж просит передать Вам с Каэрдином: если моему брату удастся привезти Вас, то на ладье будет поставлен белый парус; если Вы не сможете прибыть – чёрный. Умоляю Вас: приезжайте, если можете и хотите, но – под чёрным парусом. Слишком сильная радость при виде белого может погубить его преждевременно – раньше, чем Вы сойдёте на берег; если он увидит Вас только тогда, когда Вы войдёте к нему в горницу, то, может статься, Вы успеете что-нибудь сделать.

Но если в Вас есть хоть малейшая доля сомнения в том, что Вам удастся спасти его, – оставайтесь в Корнуэльсе: Вами искалечена жизнь Тристана – не нужно, чтобы Вас ещё и обвиняли в его смерти.

С уважением, сестра Ваша по несчастью
Изольда Бретонская

2. ОНА ЖЕ – ЕЙ ЖЕ, 21 июля

Ваше Величество, госпожа Изольда!

Прошу Вас прочесть это письмо, писанное мною не себе в оправдание, а Вам в утешение; не рвите его сразу, не вините меня, пока не прочтёте.

Вы, не сомневаюсь теперь, ненавидите меня и гневаетесь за смерть Тристана; Вы уверены, что сердце его разорвалось, когда он увидел с башни чёрный парус ладьи, на которой плыли Вы с Вашим супругом, королём – в чьём благородстве я теперь убеждена более нежели когда-либо, – и моим братом; этот чёрный парус, думаете вы, и был гибелен: мы обе совершили ошибку, но подвигла на ошибку Вас я, и смерть Тристана – Ваша беда и моя вина. Я понимаю, что Вы и не можете думать иначе. Однако всё произошло не так: я не могла объяснить Вас этого сразу, потому что Вы помните, в каком состоянии были мы обе. Вы не допустили никакой ошибки; послушайте же, как всё случилось на самом деле.

Тристан проводил свои последние дни на башне, вглядываясь в морскую даль в ожидании Вашего корабля; я неотлучно находилась при нём. Муж был в бреду, в горячке, яд распространился уже по его телу и, приближаясь к сердцу, помутил голову и очи – Тристан почти ослеп. Когда он не смог различать уже моря от неба и не в силах был приподнять голову, чтобы следить ладьи на горизонте, он поставил на эту стражу меня; глядя с башни, я ждала появления дальнего паруса, который должен был ознаменовать прибытие женщины, ненавидящей меня, любимой больше жизни моим мужем и способной – ещё надеялась я – спасти его. Силы покидали Тристана с каждой минутой ожидания, жизнь уходила, как кровь в песок; море было пустынно. Наконец, я увидела ладью под чёрным парусом – не зная ещё, вняли ли Вы моему совету или не смогли прибыть, и это только Каэрдин; я, вероятно, что-то произнесла.

– Корабль? – спросил вдруг Тристан отчётливо и даже приподнял голову...

– Да, – ответила я, с ужасом видя, что это его усилие может оказаться последним, что он может не дожидаться Вас и погибнет последняя надежда на спасение.

– Парус? – прошептал он. И тут я и совершила самое страшное: язык у меня не повернулся сказать правду, я испугалась – и ответила:

– Белый.

– Я спасён, – прошептал Тристан и откинулся вновь на ложе, посланное близ зубцов; лицо его в последний раз озарилось тою улыбкой, которая вызвала у Вас такое удивление. Я распорядилась, чтобы челядь помогла Вас пристать и проводила на башню; когда я снова повернулась к мужу, он был уже мёртв. Как я и боялась с самого начала, радость убила его.

Так всё это произошло; вашей вины здесь нет – ошибка только на мне... И кара на мне – король поддержал Вашу просьбу отдать Вам тело, дабы оно было похоронено в Корнуэльсе; я – теперь Вы знаете, почему – не посмела отказать. Вам осталась хотя бы могила, мне – лишь воспоминания о своей вине и своей беде... Я не прошу у Вас прощения – я знаю, что это бесполезно; я просто хочу быть честна с Вами.

Прощайте, Ваше Величество, соименная сестра моя по горю...

Изольда Бретонская

3. КОРОЛЬ МАРК – ИЗОЛЬДЕ БЕЛОРУКОЙ, 15 августа

Госпожа Изольда, герцогиня Бретонская!

Случилось так, что Ваше последнее письмо получил уже я – супруга моя Изольда Белокурая скончалась сразу по возвра-

щении нашем из Бретани, и я счёл допустимым прочесть адресованное покойной послание, о чём нимало не сожалею. Прежде всего должен сообщить Вам: да, Ваш муж и моя жена, согласно её предсмертной просьбе, похоронены рядом на одном церковном дворе, и на их могилах уже расцвели розы, стремясь соединиться – как стремились соединиться при жизни те, под ними... В приступе недостойного самолюбия я велел посадить между ними терновник, но он растёт медленно и едва ли помещает цветам.

Я вынужден, в свою очередь, прояснить кое-какие обстоятельства, касающиеся этих двух мёртвых и нас, двух живых. Да, я любил их обоих – и мне трудно сказать, кого из них больше. Возможно, Вы слышали, что я не по собственному желанию вступил в брак с Изольдой Ирландской – этого требовали мои бароны. Почему? Потому что иначе после моей смерти (а я уже немолод) престол был бы завещан мною Тристану – моему родичу и другу, преданному и честному. Признаюсь Вам, я – не лучший король для своей державы; я слаб – и не смог бы защитить свои владения от войск короля Артура; я мягок – и был недостаточно строг со своими вассалами; Тристан, воин и герой, мог бы и спасти Корнуэльс, и сохранить его после моей смерти. Но моим баронам это пришлось бы очень не по сердцу: у меня или сына, который пошёл бы в меня, они надеялись вырвать составленную уже ими тайно Хартию вольностей и, покорившись Артуру, сохранить свои привилегии, записанные в ней.

Я смирился; я отправил Тристана в Ирландию сватом, надеясь, что дело расстроится из-за того, что когда-то в юности он сразил на поединке брата Изольды. Вы знаете, конечно, все басни о приворотном зелье и его нелепой роли в этой истории; я не верю в зелье – и считаю естественным, что столь достойные молодые люди полюбили друг друга. Я никогда не винил их за любовь – меня сокрушила измена, измена жены и друга-вассала. Дорожа обоими, я потерял обоих.

Когда Тристан увёл мою жену в леса, погибла последняя моя надежда: что сын Изольды (его сын) пойдёт в родного отца, но будет считаться моим сыном и наследником – зачем, я уже говорил. С этой тайной мыслью я сопровождал Изольду к Вам в последний раз. Господь судил иначе: Тристан стал рыцарем Круглого Стола, то есть признал власть Артура над всей Британией, а потом бежал и погиб, не зачав сына; Изольда не дала мне наследника; к Вам и Тристану мы опоздали...

Я смогу продержатъ свою страну в руках до смерти; по завещанию она обойдёт к Артуру – ему это известно, и от войны с ним, по крайней мере, я избавлен. Мне остаётся одинокая старость... или новый брак, который не сможет спасти меня от воспоминаний о прежнем, как Ваш брак с Тристаном не принёс избавления ему.

И всё же я надеюсь на лучшую долю: я знаю, кто мог бы стать мне самой подходящей женою на свете в таком положении. Это одна знакомая мне вдова из Бретани, герцогиня Изольда Белорукая; её белой руки и прошу я этим письмом. Едва ли меж нами родится новая любовь; едва ли иссякнет то уважение, которое я к Вам питаю сейчас; и в любом случае у нас будет нечто объединяющее – общая скорбь об умерших. Это чище, чем скорбь о живых порознь.

Одновременно с этим письмом я направляю официальное сватовство к Вашему брату, герцогу Каэрдину; если Вы не откажете мне, не откажет и он – мы подружались тогда, на корабле. После моей смерти Вы сохраните если не моё королевство (его дожидается Артур), то хотя бы мой титул – и, может быть, добрую память. А при жизни нам будет легче вместе...

С искренним уважением
МАРК, король Корнуэльский.

Постскриптум: степень моего почтения и доверия к Вам показывает то, какой достойный молодой человек направлен к Вашему брату во главе сватовства. Если Вы и герцог дадите согласие, прошу Вас отправиться к моим берегам под белым парусом; в случае отказа упомянутый мною сват должен поставить парус чёрный. Я учусь у Вашего покойного мужа, как пытался учиться при его жизни.

Король Марк.

КОПЫТА КРЫЛАТОГО КОНЯ

*Багдад, Абу-Нувасу,
собств. дом, с личным
нарочным государыни*

Друг мой Абу-Нувас! – ведь и в самом деле, вы один из немногих друзей моего мужа, которых и я могу причислить к своим друзьям. Отец и сын ал-Маусили – прекрасные музыканты, но терпеть меня не могут, как и весь двор. Недаром сам дьявол учил их музыке (кстати, я до этого и не подозревала, что Нечистый так талантлив в этой области; меня угощали вином якобы из его собственного виноградника, я, грешница, отведала и нашла его посредственным; не сомневаюсь, что им пренебрег бы столь тонкий ценитель, как вы). Но вы – старый мой друг, и свидетельством моего доверия может служить то, что я поручила вам учить моих сыновей стихосложению, хотя мне и доказывали, что подпускать вас к мальчикам небезопаснее, чем онагра к плодам кийюббы.

Однако сегодня я хочу возложить на вас гораздо более тонкое дело. Дорогой Абу-Нувас, вы знаете, сколько неприятностей мне всегда доставлял нрав моего августейшего супруга, да продлит Аллах его дни! Харун расточителен, а не щедр, пьяница, а не смакователь, развратник, а не влюбчив. Правда, половина его любовных связей – чистейшая выдумка; честно говоря, сдаётся мне, что здесь не обошлось без вас – некоторые сплетни явно носят следы вашего остроумия, а не державной похоти. Однако доверять сплетням я не люблю (чем и восстановила сплетников против себя); Харун же, да продлит Всевышний его чёрные дни, наслаждается своей дурною славой. Вам он наверняка тоже не раз говорил: «Абу-Нувас, как ни стремлюсь я к разнообразию и оригинальности, сколько ни хожу переодетым, кому ни одалживаю на час халифат – всё равно получается плоско и скучно. Давайте заранее придумаем побольше небылиц о себе, а то нас все забудут уже через сотню лет». Вы тогда подсказали ему то превосходную затею с Шахразадой; рада сообщить вам, что лучшие наши литераторы занялись «1001 ночью», не обойдя в ней своим вниманием и вас. Увы! Каково этим несчастным редактировать пошлые выдумки самого халифа, да не забудет его Тот, Кто не спит. Эту работу он поручил лично великому визирю Джаффару Бармакиду; что из этого вышло, вы скоро узнаете.

Так вот, невзирая на увековечение своих походов на бумаге, ещё более того Харун любит непечатные истории о себе; в наши дни, когда море свободы слова затопило твердыни приличия, от сплетни требуется очень многое, чтобы не быть пропущенной цензурой. Любимой историей этого сорта мой Драгоценный Оплот избрал выдумку о своей кровосмесительной связи с собственной сестрой, принцессой Аббасою. Не стану обременять верблюда вашего внимания мокнущей губкой этого сооружения, тем паче что тут уж ваш вклад в него очевиден. Багдад поболтал, поболтал, сконфузил бедную принцессу (а ведь Повелитель правоверных, да судит его Ведающий Истину, потребовал, чтобы она ему подыгрывала) – и привык. Харун страшно огорчился.

– Что мне делать, Зубайда? – спрашивал он капризно. – Я же сирота и не могу распространяться о своей связи с родной матерью!

– О Оплот благочиния и Столп целомудрия! – ответила я. – Вырой же труп её из могилы и всенародно лобызай его в час полуденной молитвы на самом высоком минарете Багдада!

Супруг мой, да благословит его Любящий Чистоту, опешил, а потом изверг на персидский ковер сок греховной лозы, каким он перед тем злоупотребил.

– Ну ладно, – выговорил он наконец, – я тебе покажу, как шутит шутки с Преемником и Наместником Посланца Господня, да святится имя его!

– Аминь, – заключила я, не ведая, какой плод зачала блудница его разума.

Через два дня Харун, да припомнит ему это Взвешивающий Пороки, всенародно объявил, что я своими ревнивыми преследованиями затравила несчастную Аббасу, и он торжественно выдаёт её за Джаффара. Все неприятности и всю хулу, которым я подверглась в те дни, смыл с меня поток мёда и шербета, излитый вами в свадебной песни. Более очаровательной и игривости вы не достигали никогда! Все были рады и довольны, а халиф, да узрит его благость Хранитель Очагов, недвусмысленно и конфиденциально сообщил всем гостям по отдельности, что брак этот – фиктивный. Увы, попугай красноречия – родич голубя рассеянности: новобрачных он предупредить об этом забыл.

Прошло необходимое время, и Аббаса раздалась в талии, а Джаффар, чувствуя, куда может подуть самум самодурства его государя и повелителя, поспешил спрятать её; когда же появился ребёночек, отец отослал его в Мекку. Но змея слуха поспешнее черепахи благоразумия. Венценосный супруг вошёл ко мне, сияя подобно начищенному гонгу и обнажая зубы, подобные престарелым скалам, и радостно возвестил:

– Радость моя, оказывается, у Аббасы родился от меня сын! Поревнуй как-нибудь пороскошнее, гурия моя!

– О Кристалл искренности, – ответила я, – удержи ковер-самолёт своей фантазии и феникса своей выдумки! Я не хуже тебя знаю, что прилюдно ты лишь целовал Аббасу, а в остальное время мои евнухи и рабыни не спускали с тебя глаз.

– А я их надул! – воскликнул Повелитель правоверных, смущённо хихикая. – Завтра же кто-нибудь сочинит мне, как я это сделал!

– О Мрамор наивности! – возразила я. – Узнай же, что слава может родиться от измышлений, но дети появляются на свет иным образом!

– Так что же, – сконфуженно и обиженно спросил Наследник Пророков, – это не мой сын? Немедленно проверю, и если этот шакал Джаффар не только оскотил мои литературные детища, но и породил детище моей сестры, ему несдобровать!

– О Лев безрассудства! – рекла я, – не забывай, что Джаффар – мудрейший из Бармакидов, а Бармакиды – единственный оплот твоего престола!

Но Харун сообщил мне об отношениях моей бабушки с низшим из ифритов и ускакал в Мекку. Увы, бедное дитя не уподобилось зеркалу, когда он посмотрел в его личико: напротив, оно было преступно похоже на своего родного и законного отца!

Абу-Нувас, в минуту, когда перо моё украшает этот листок завитушками (кстати, как ты считаешь, стал ли лучше мой почерк после курсов каллиграфии? И не от тебя ли исходят сведения, что моего учителя в этой области я пустила на чернила и пергамент? Если от тебя, то это пошло), по приказу Всемиловитого повелителя плотники сколачивают крест для самого умного человека в халифате. Остальные Бармакиды арестованы и сидят в темнице; их приговорят к пожизненному заключению, как сообщил мне кади, которому предстоит вершить суд. Бедняжка Аббаса ещё ничего не знает, но я догадываюсь, что Изобретательнейший из правоверных (да будет с ним то, чего я желаю ему!) на этот раз сам что-нибудь да изобретёт.

Абу-Нувас, друг мой, скачи в Мекку и спрячь малютку. Замени последнему Бармакиду отца – ты ведь любишь детей, хотя и более старшего возраста. Спрячь его до поры, пока не посетит моего венценосного супруга и повелителя, наконец, Разрушительница Наслаждений и Разлучительница Собраний, да будет благословен её приход! Если она задержится и замешкается, я потороплю её, дабы халиф скорее узрел Престол Горний. Конечно, малыша потом могут попытаться сделать самозванцем, но я полагаюсь на твоё благоразумие и любовь к моему сыну и наследнику. И если, соловей Багдада, ты сможешь впоследствии представить халифу Эмину ибн Харуну нового Бармакида, то и

сын мой, и держава его, и я лично будем благодарны тебе более, нежели оратай благодарен серебру дождя и золоту урожая. (Жаль, конечно, что у него не будет верного оруженосца из сыновей евнуха Масрура, но тут уж ничего не поделаешь.) Не теряй времени – мчи на запад и не забудь по дороге придумать что-нибудь для «1001 ночи». История про сорок разбойников, которую ты мне рассказывал, очаровательна; вставь туда моего блистательного Харуна (да узрит он предков своих до ближайшего утра и да насладится он непорочностью чернооких гурий завтра же!) и будь осторожен, ибо вол назидания скучен и бык достоверности груб, но крылатый конь высочайшей фантазии опускает копыта свои лишь туда, откуда последует наиболее громкий и исполненный таланта и оригинальности вопль.

Спешите, друг мой.

Старшая жена Повелителя правоверных
Харуна Ар-Рашида Аббасида
Её высочество госпожа ЗУБАЙДА

181 г. Хиджры, джумада 2-го дня

ПРОКЛЯТИЕ ПЛАНТАГЕНЕТОВ

*Его Величеству,
королю Англии и Франции
Иоанну Плантагенету*

Ваше Величество!

Послание это может показаться Вам дерзким – я, Губерт де Бур, Ваш рыцарь, отрываю Вас от дел Британии; если же Вы узнаете, что это – последнее письмо, на котором будут стоять моя печать и моё имя, что завтра я удаляюсь в монастырь, то я предполагаю, сколь велик будет Ваш гнев. Я понимаю, Государь, что моё пострижение сейчас, во время войны, может показаться предательством со стороны приближённого, к которому Вы всегда были так милостивы и который всегда отвечал Вам на это самой искренней преданностью. Простите меня, Ваше Величество: это письмо объяснит Вам причины моего поведения; речь в нём пойдёт о проклятии Плантагенетов.

Я пользовался Вашим доверием более, нежели кто-нибудь другой, и потому знаю, как страшило Вас это проклятие. Быть может, и само доверие это было продиктовано тем, что Ваш отец был тем человеком, который отдал приказ об умерщвлении св. Томаса, а я – одним из людей, которые этот приказ выполнили. Недобрый конец короля Генриха, отчаянное и героическое бегство Ричарда, Вашего брата, Ваши несчастья – всё это Вы приписывали проклятию, тяготеющему над родом английских королей с того дня. Не потому ли Вы дали исполниться пророчеству Питера Помфретского, предсказавшего, в какой срок Вы сложите венец, что опасались – не святой ли и он? Не потому ли Вас так испугал слух о том, что Констанция хочет подать прошение в Рим о причислении к лику святых мучеников Вашего племянника Артура, которого я не уберёг от гибели, павшей на Вас? Нам суждено убивать святых, но это проклятие – не проклятие Плантагенетов.

Я был близок к Вашему Величеству; но много ли Вы обо мне знали? Губерт де Бур, старого и нищего нормандского рода, верный слуга, урод с черепашьим лицом – вот и всё. Но эти рубцы, бороздящие мои щёки, сплетающиеся на лбу, скрадывающие перебитый нос, – они достались мне не Божьей волей, а от руки человека. Но было время, когда юный паж Губерт де Бур слыл одним из самых красивых юношей при дворе короля Генриха, как ни трудно сейчас поверить этому. Ваш отец любил

красивые вещи, оружие, коней, приближённых; я соответствовал всем требованиям: увы, более чем соответствовал.

Конечно, я не был сколько-нибудь значительной особой – по молодости (мне было тогда пятнадцать лет), по бедности, по равнодушию короля к роду де Буров. Один из многих пажей, я проводил время с товарищами-сверстниками и всегда ладил с ними; теперь мне бессмысленно скрывать, что, подобно многим юношам, мы чтили Венеру в не меньшей степени, нежели Марса, и гордились успехами на любовном поприще не менее, чем на турнирном поле. Как положено, у каждого была Дама из числа первых дам двора, о которой мы вздыхали и которую воспевали, и были женщины иного положения, с которыми и мы вели себя совсем иначе. Бедность – не помеха для песен; но и во втором случае красота порою искупала её, а я был красив.

Быть личным королевским пажом, несмотря на хорошее происхождение, я не рассчитывал; впрочем, мне, как и другим, наиболее завидным представлялось состоять при наследнике. Принц Жоффруа был тогда чуть моложе меня, весел, добродушен и не слишком умён – как и на Вашей памяти, государь. В его свиту я не попал, зато удостоился благосклонности королевы Элинор, Вашей матушки. Сейчас, после её смерти, легенда о ней расцвела ещё пышнее, чем при жизни; в ней много лжи, как и во всякой легенде, и отравление королевою мужа ничуть не достовернее, чем подвиги Фоконбриджа, о котором сейчас распевают солдаты и в которого играют дети, не подозревая, что их героя никогда не существовало и его образ создан в Вашей ставке. Но народу всегда необходим герой – чем он недоступнее и неуловимее, тем лучше. Вы дорого заплатили за то, что находились на виду у всей Англии, пока Ричард пропадал на Востоке. Впрочем, это не имеет отношения к делу и известно Вам лучше, чем мне; просто я невольно уклоняюсь от рассказа о том, что ныне только мне и известно. Нужно ли вообще писать об этом? Нужно, ибо каждый должен знать своё проклятье.

Итак, слухи о королеве Элинор, ходившие и продолжающиеся ходить по стране, преувеличены до чудовищных размеров; но, как порою ни жаль, дыма без огня не бывает. Королева была не только государыней, но и женщиной – женщиной, которую покидает молодость, но не желают покидать страсти. В те дни, когда она увидела меня, король был в отлучке; но даже его присутствие лишь раззадорило бы её. Меня призвали к королеве поиграть на лютне; но она искала совсем иной игры и не отступилась от нескольких партий, как никогда ни от чего не отступалась. Потом я надоел ей – кажется, через неделю, – был отослан и был бы забыт, если бы у королевы через девять месяцев не родился сын, которого нарекли именем евангелиста Иоанна...

Король потребовал меня к себе; я начал от всего отказываться, тогда Генрих, улыбнувшись, сказал: «Губерт, ты верен госпоже более, чем господину, а всякая верность вознаграждается. Твой ребёнок будет для всех английским принцем – я не думаю, что он окажется хуже других детей Элинор. Ты верен и будешь молчать об этом; я не вырву у тебя языка и не велю убить на охоте – я полагаюсь на твою честь и здравый смысл. Надеюсь, что впредь ты будешь преданнее своему королю». – «Клянусь!» – воскликнул я (и сдержал клятву). Но Генрих продолжал: «Губерт де Бур, ты скоро убедишься, что хранить верность королю гораздо легче, чем королеве. Она не уверена в тебе; она не хочет, чтобы тебя любили другие женщины; а так как я отношусь к ней с пониманием, то хочу обеспечить супруге спокойствие на этот счёт. Не будь в обиде, красавчик», – и он вынул кинжал из ножен.

Моё лицо лечили долго и настолько тщательно, что я не удивлюсь, если обязан отчасти и лекарю тем, что, встав на ноги, не узнал себя в зеркале. Я сделался уродом; был пущен слух, что меня лягнула в лицо лошадь. Не самый лестный слух для королевского пажа, но вскоре король сам посвятил меня в рыцари, и более надёжного вассала у него не было, ибо я знал, что в замке государя растёт маленький Джон, обязанный рождением своим мне, а жизнью и жребием – Генриху. Я был сторожевым псом; у короля имелось ещё трое таких – не знаю, чем он сковал их души, но эти души они погубили вместе со мною, когда Генрих понял, что архиепископ Кентерберийский Томас Бекет добьётся для него интердикта. Мы выслушали короля молча – как я выслушал Вас, когда Вы велели мне ослепить принца Артура. С мечами под плащом мы вошли в собор, не перемолвившись ни словом. Бекет молился перед алтарём; окончив молитву, он взглянул на нас и спросил: «Вы от Генриха?» Мы не ответили. Он сказал: «Король понимает, что кровь моя будет на нём и вспыхнет от первой искры адского пламени». – «Твоя кровь будет на нас», – ответил один из четверых (может быть – я), и другой (может быть – я) ударил его мечом.

Мне никогда не доводилось видеть больше этих трёх рыцарей после того, как мы расстались у выхода из собора; возможно, они сменили имена; кажется, кто-то из них пал в крестовом походе близ Ричарда Львиное Сердце. Я некоторое время скрывался; когда стало спокойнее, я явился к королю. Генрих посмотрел на меня, и его бледные губы дрогнули, словно он хотел поблагодарить или спросить о чём-то, но лишь кликнул приближённого и сказал ему: «Вот де Бур; я поручаю Джона ему». Так я начал служить Вам.

Где бы Вы ни были – я был подле Вас, что бы Вам ни грозило, я защищал Вас (сперва – когда бароны пытались вырвать у Вас злосчастную хартию Вольностей; ведь это я убедил Вас

бросить им этот кусок; потом – когда бунтовала чернь, и я выдумал Фоконбриджа), чего бы Вы ни пожелали, я выполнял это. Почему я тогда не ослепил Артура, спросите Вы? Потому что я вспомнил, как умирал король Генрих, шепча: «Прости меня, Томас!» Вы сами поняли, что я был прав, и лишь безрассудность этого мальчика погубила его. Почему я покидаю Вас? Потому что Вы, король, не можете уйти со мною, а я хочу отвести от Вас то проклятие, которое люди (и Вы сами) называете проклятием Плантагенетов. Я не стану молиться в монастыре о спасении своей души – это бесполезно; я буду молиться за Вас, и когда предстану пред Судией, то скажу: «Боже, если ты будешь карать моего сына, то карай лишь за его грехи, за грехи короля Иоанна Безземельного, но пусть проклятие Плантагенетов падёт лишь на меня». И знаете что? Я думаю, что святой Томас согласится присоединиться к моей просьбе. Ведь он помнит, что сказали ему тогда, в соборе, четыре человека, принимающие на себя кровь мученика.

Прощайте, государь! Храните Англию. Прощайте, сеньор! У Вас ещё остались верные вассалы. Прощай, сын! Дай Бог, чтобы мы не встретились больше.

Губерт де Бур,
Июнь 1214 года от Р.Х.

ПРЕМУДРАЯ ДЕВА ФЕВРОНИЯ

*Монастырь Успения Пресвятой Богородицы
Инокине Евфросинии*

Жена моя в миру, Феврония, и сестра во Христе, Евфросиния!

Уходя в монастыри, принимая постриг, условились мы не писать друг другу, кроме как перед последним часом, дабы, живши вместе, и упокоиться купно. Малым нарушаю я уговор: смерть моя близка, недуг старости, который даже ты не сможешь исцелить, влечёт меня ко гробу. Мирно приял бы я кончину, зная, что после праведной жизни и праведной смерти вниду в Вертоград Господень об руку с тобою; муки телесные и утомление души ничто для нас, переживших гонение и недуг, видавших, как город наш, наш Муром пылал в огне татарских пламенных стрел – всё это помню я, но иное, иное стёрлось из памяти моей. И забвение это страшнее тягчайших воспоминаний. Ты одна можешь ответить мне, Евфросиния – прочие не знают, умолчат либо солгут. Ответь, подруга моя, сестра моя, разреши от этого бремени до конца – начало же ты положила, представ передо мною впервые.

Тридцать лет прожили мы вместе в ладу и согласии, чего не видели, о чём не переговорили – и вот ныне я исповедуюсь не настоятелю, но тебе, премудрая дева Феврония, ибо знаю, что ты – святая и тебе ведомо то, что никому не ведомо. Поведая же я о том, что пережил до встречи с тобою, о том, что свело нас, – а на радость свело нас горе. Может быть, и это ведомо тебе, – но тем легче найдёшь ты, что вправе открыть, а что утаить. Тайна – тяжелейшее бремя, и я стар для него, моя мудрая и добрая!

Нас было двое сыновей у отца: старший, князь Павел Муромский, и я, Пётр. Я любил брата, как никого кроме тебя и Господа нашего. Он был силен, смел и прям, и не было у него думы невоплощённой. Павел ещё при жизни отца обвенчался с Еленою, рязанской княжной; ты должна помнить её. Высокая и статная, с волосами цвета меди и зелёными длинными глазами, до самой смерти она оставалась такой же, какой я впервые увидел её. Брат любил её за красоту и за ум; пока он сидел в Муроме, трудно было бы ответить, кто из них более князь. Я боялся Елены, хотя и была она со мною всегда ласкова и благосклонна; но недобрый огонь чудился мне в этих странных очах, и ещё страшнее казались мне они, когда говорила она со мною

как с другом, чем потом, когда стала она для нас с тобою противницею. Я не знаю, кем была эта женщина, но тебе, верно, это ведомо.

Детей у них с братом не было; Павел стал хмур и невесел, гнал ходоков, кричал на бояр, а более всего суров был со мною. Может статься, я был и не прав, но мне казалось, будто тревожился он, не полюбился ли я его супруге, – я же лишь боялся её, ибо чувствовал Еленину странную силу, которую лишь ты смогла одолеть.

Но однажды Павел призвал меня к себе, усадил и молвил:

– Прости меня, Пётр, были у меня дурные помыслы на тебя – более их нет. Я давно уж видел, что жена изменяет мне, но с кем, как, когда – это было сокрыто, и никаких следов не находил я. Но вчера Елена поведала мне истину – каждый раз, как уезжаю я собирать полюдьё или на охоту, змий огненный, приняв мой облик, является к ней и вершит блуд. Сначала принимала она змия за меня, а распознав его породу, осталась бессильна. Я собрался убить его на месте, но Елена открыла, что змий признался ей: смерть ему может прийти лишь от Петрова плеча и Агрикова меча. Не как князь и господин, но как брат и друг прошу, тебя – добудь тот меч и срази гада!

Веря и не веря, слушал я Павла; но вскоре и в самом деле в алтаре Воздвиженской церкви обрёл я чудный меч – тот, что носил у бедра до самого пострига. И вот однажды, когда брат охотился в диких лесах, Елена известила меня, что в этот день змий прилетит к ней. Помолившись и опоясавшись Агриковым мечом, вошёл я в её светлицу. Елена сидела на крытой шкурами лавке близ человека, ничем не отличающегося с виду от брата. Он поднял на меня глаза, увидел обнажённый меч и, нахмурясь, грозно промолвил:

– Пётр, как посмел ты войти сюда с оружием – ко мне, к жене моей?

– Не обманешь, змий! – воскликнул я, но меч дрожал в моей деснице, и солнечные блики из косого окна плясали на нём. – Брат мой в лесах, ты же, прелюбодей, лишь принял его личину!

И всё же так схож был змий с Павлом, что сомнения всё более одолевали меня; Елена же не отводила от моего лица своих зелёных тяжёлых глаз.

«Не морок ли это? – подумал я. – Ведь змия не видали ни я, ни брат; лишь со слов жены рассказывал он о нём». Но в этот миг черты его исказились яростью и гневом, и он крикнул:

– Нет, это ты прелюбодей и предатель, стремишься убить меня и овладеть супругою и венцом моими! Но не быть же сему!

Обнажив меч, бросился он на меня; скрестив оружие, я услышал крик Елены: «Срази гада!», почувствовал, как меч противника обрушился на мою голову, и в тот же миг увидел,

как мой клинок вошёл в его грудь и кровь вспузырилась вокруг раны; потом я упал, и тьма застлала мне очи.

Лишь через несколько дней очнулся я, рана жгла и голова гудела; всё снова виделось мне, как брат мой падает и обращается в смрадную кольчатую тварь.

– Где Павел? – спросил я.

– Князь Павел сгинул на охоте, – отвечал мне служащий отрок. – Лишь только вернутся к тебе силы, господине, как во храме венчают тебя на княжение и на брак со вдовицей Еленою.

Что-то страшное подумалось мне, и я снова погрузился во мрак; эту мысль и тщусь я ныне вспомнить так мучительно.

Дальнейшее знаешь ты не хуже меня. Рана моя не зажила и недуг не уходил, куда ты не исцелил страждущего. Узнав о моей клятве, княгиня Елена воскликнула:

– Лучше б тебе умереть, княже, чем жениться на мужичке! Брат твой погиб, ты спас меня от змия – по древним законам и обычаям, я должна стать тебе супругой.

И длинные глаза её снова горели тем жутким, чарующим зелёным пламенем. Я слушал её, я готов был покориться, когда и бояре начали толковать о том же, но ты, святая моя подруга, спасла меня. Мы обвенчались, и когда Елена подняла смуту среди бояр, я вместе с тобою покинул родной Муром. Как посох, поддерживала ты меня, пока смута не пожрала себя самоё, не сгинула ослеплённая твоим светом колдунья Елена и нас вновь не призвали на княжение. Быть может, грешно мне ныне вспоминать суетный мир, но те наши годы были так счастливы, брак наш так чист, что едва ли зачтётся мне за грех, если я думаю о тебе всё ещё как о Февронии, а не как о сестре Евфросинии.

Весь этот срок, все тридцать лет не вспоминал я о змие, о странном поединке и о крови, вскипевшей вокруг нанесённой мною раны. Но теперь, когда все помыслы мои должны быть обращены к Господу, предо мною вновь и вновь качается лик брата моего – то скорбный, то властный, то гневный, как в час битвы... Но ведь не с ним, а со змием-оборотнем сражался я, Феврония, и бояре, и проклятая Елена, и все потом рассказывали мне, как чудовищный труп плавал в буро-зелёной крови посреди княгининой светлицы! Я верю, что то был змий, ибо не попустил бы Господь мне сразить на поединке родного брата! И всё же одно я помню – алой была кровь на моём клинке, алой, человеческой, горячей... родной!

Всё ведомо тебе, премудрая супруга, нет тайн, сокрытых Всевышним от святости твоей. Укрепи же меня вновь, прогони этот морок, развеяй это тягостное наваждение – я один слаб, как был слаб без тебя всегда, и молитвы более не подмога мне. В церкви меж образов выступают пред очами моими лики брата и Елены, в келье слышу я шёпот из углов: «Каин! Каин! Где брат

твой?» Ведь Павла так и не отыскали в лесах, ни живым, ни мёртвым. Быть может, он ещё странствует по свету или скрывается в муромских чащобах, близ дома твоего. Я умираю, Евфросиния, но близость смерти не облегчает меня: лишь увидев брата, я опочил бы спокойно. Приди, если можешь, напиши, если знаешь, избавь меня, во имя Господа, во имя нашей любви, от этих дум. Исцели дух мой, как некогда исцелила плоть от братне... змиева меча. Я устал, сестра моя.

Писано 23 июня лета 6736
смирненным иноком Давидом
в монастыре Спасителя

ПРИПИСКА ФЕВРОНИИ: Мы обещали Небу не видеться до кончины. Я не вправе прийти к тебе и не вправе раскрыть тайну. Выдержи последний искус, брат мой, – там, где мы снова встретимся уже скоро, ты узнаешь всё, и узришь и справедливость, и милосердие; и то, что и ты свят и угоден Господу, ты тоже узнаешь тогда.

Смиренная инокиня Евфросиния.

МИРОТВОРЕЦ

*Венеция,
г-ну Бассанио, купцу*

Благословение Божие, Бассанио, над тобою, и супругою, и чадами!

Друг твоей молодости вновь беспокоит тебя и отвлекает от столь важных дел, как попытка завязать торговлю с обеими Индиями. Более того, он отвлекает тебя отнюдь не по такого рода причине, которая приличествовала бы бедному минориту, брату Лаврентию. Но чем больше погружаюсь я в хроники гостеприимной Вероны (откуда и посылаю сие письмо), чем далее стараюсь уйти в глубь веков в поисках хоть единого святого из здешних мест, тем сильнее – странное дело! – тревожат меня дела сугубо мирские, с каковыми мне приходится сталкиваться всё чаще и чаще. Но успел затихнуть скандал с тем благородным молодым человеком, волею Провидения сделавшимся на некоторый срок предводителем разбойников, и с этой его Юлией, разгуливавшей по Италии в мужском платье (герцог простил первого, Церковь, проявив достойное милосердие, пощадила вторую; беспощадны лишь слухи), как произошла эта тягостная история с другой Юлией, Капулетти, молодым Ромео Монтекки, князем Парисом и иными, о чём, вероятно, тебе передала уже молва. Быть может, передала она в этой связи и моё имя, и мою печальную роль в этой печальной повести, за каковую я сам наложил на себя жесточайшую епитимью. И всё же, не разглашая тайн исповеди, не пороча ничьих имён, я хотел бы сообщить тебе о той стороне этой странной трагедии, задуманной как забавная и поучительная комедия, о которой тебе едва ли поведают кто-либо ещё.

По слухам, вероятно, представляется, что главную роль здесь сыграли страстная любовь с первого взгляда, безумие молодости, тщетно охлаждаемое опытом моей если не старости, то зрелости. О Боже, как я убеждал молодого Монтекки не спешить, не торопиться! я даже поведал ему ту неблагоприятную историю, которая привела меня, к счастью, на чистейшее и богоугодное поприще, но могла завести и в гораздо худшие обстоятельства. Ты никогда не любил Джессику, Бассанио, ты перенёс на неё свою неприязнь к её отцу, а заодно – и на всех её соплеменником, равно крещёных и некрещёных (что уже совсем нехорошо, ибо, как отмечал апостол Павел, сие есть единственная разница меж иудеями и всеми остальными обитателями наших краёв), и

я не собираюсь жаловаться тебе; просто – хочу позволить себе немного вспомнить собственную юность – нашу общую юность! – так и не послужившую уроком несчастному молодому человеку. Господь свидетель, я любил Джессику ничуть не меньше, нежели любили друг друга эти несчастные веронские дети; я похитил её, желая спасти не только из узилища нечестивой веры, но и от той тяжёлой атмосферы, которая всегда наполняет дом ростовщика и пропитывает души всех его обитателей. Увы, поздно! в первый раз я усомнился в своём дерзком выборе, узнав, что Джессика прихватила из отцовского дома шкатулку с золотом; на моё возмущение и слова о собственном немалом состоянии она лишь улыбнулась и ответила: «на чёрный день». Когда чёрный день наступил, никакое золото уже не могло помочь. Она любила меня, Бассанио, и я любил, и дети наши (видишься ли ты с ними? Пьетро должен быть уже совсем взрослым) были зачаты в любви (да простит мне Господь подобное воспоминание!). Но кровь моего тестя, золотая пыль, кружившая в воздухе его дома, сказывалась: вскоре я был вынужден отказаться от экипажа, а дети – ходить в штопанных чулках, несмотря на все мои огромные тогда доходы (прах, прах! но в то время я ещё не понимал этого – потребовалось семь лет жизни с Джессикой, чтобы я осознал тщету корыстолюбия). Право же, она любила и детей – для них и копила; но ребятишки больше были бы рады сегодняшнему леденцу на палочке от уличной торговки, нежели дукату после смерти родителей. Стяжание ради детей перешло в стяжательство ради стяжательства; тогда-то я и покинул Венецию, никому не сказавшись, и от прошлого Лоренцо осталось только имя да память о нашей с тобою дружбе...

Я слышал, между прочим (нехорошо, конечно, передавать сплетни, но порою это представляется необходимым), что твоя Порция ныне сохнет, тоскуя по перу и судейской мантии; могли ли мы предположить, что именно тот давний день останется у неё в памяти как лучший в её жизни? Разубеди меня, пожалуйста, в достоверности этой молвы – иначе, мне кажется, Порция слишком опережает нравы своего (и нашего) времени, так что мне становится горько за вас обоих и за всю суету мирскую...

Так я говорил о Ромео Монтеки; я ли не уговаривал его отложить брак? я ли не рассказывал ему страшных историй о семейной жизни и о девочках, умирающих родами? но он, сам ещё мальчишка, дерзко и влажно взглянул на меня своими чёрными и, надо признать, действительно очень красивыми глазами и заявил: «Неужели, святой отец, вы хотите, чтобы венчание оказалось для нас единственным, хоть и запоздалым выходом?..! Я сложил оружие и поступил так, как желал он... он ли?

Я недаром упоминал, что любовь в этой драме оказалась чем-то вторичным. До определённого момента Ромео только и мечтал о своей Розалинде, замужней и добродетельной, а следовательно, безопасной даме, а Юлия – о прекрасном князе; им и в голову не приходило породниться с вражеским домом – ты же знаешь, какая ненависть выросла веками меж домом Монтекки и домом Капулетти. Эта ненависть, эти раздоры и усобицы, эта бесконечная грызня, парализующая все силы двух влиятельнейших родов, замкнувшихся один на другом, в высшей степени пагубно сказывались даже на внешней веронской политике: ты знаешь, вероятно, как девяносто лет назад один из Монтекки едва не преподнёс Верону на блюде миланским правителям только ради того, чтобы досадить Капулетти. Никого это не печалило более, чем герцога; никто – я, лицо духовное, вправе сказать об этом – не был так бессилён перед сим злом. Герцог Эскал робок и мягок, и если в Вероне случается что-либо скверное, то можно не сомневаться, что его светлость появится только после того, как всё, чего не должно было произойти, уже произошло... Я не сужу его – ни в коей мере! – в конце концов, он довольно милосерд и кроток, это редкость в наш железный век, и за сие ему простятся многие ошибки. Но был в Вероне другой человек, который умел даже ошибки свои обращать на благо отечества. Это родич герцога, ныне, увы, покойный, обаятельнейший молодой человек лет двадцати пяти, не более, изящнейший кавалер, искусный фехтовальщик, немного поэт – более по части эпиграмм, немного музыкант – исключительно по части серенад, – и гениальный политик. Слышал ли ты о нём? как о политике – едва ли, что и подтверждает его талант в этой области.

Полный сил, энергии, ума, патриотизма юноша в Вероне – что может он сделать, как поступить? Встать на стражу исконных прав Монтекки, с сыном которых он дружен? или, не менее исконных, – Капулетти, сын которых тоже не враг ему? или всё-таки послужить герцогу, городу и вере Христианской? к счастью, Меркуцио выбрал последнее. Поставленная им перед собою цель была сложна, задача эта не могла найти разрешения десятилетиями, если не веками: помирить Монтекки и Капулетти, ни больше ни меньше. И он этого достиг, несмотря ни на что – и прежде всего несмотря на пути, которые привели к этому примирению, сгубив пять юных жизней – в том числе и его собственную.

Меркуцио знал людей; Меркуцио любил их и смеялся над ними; он на умел плакать – потому что не нуждался в этом; он чувствовал себя способным управлять людьми с помощью незримых нитей, наподобие базарного кукольника. Замысел его был прост: соединить семейства браком; замысел его был почти невыполним, почти невысказан. И всё же он берёт своего юного

друга, лепечущего о какой-то Розалинде или Розамунде, под руку, надевает на него маску и вводит в дом Капулетти на бал. Он направляет его взгляд, нашёптывает ему слова, обостряет его чувства – и один из главных героев задуманной им благородной комедии уже готов для своей родины. С Юлией ему пришлось труднее, как сам он мне признавался – не на исповеди, просто так, мы ведь были с ним давними друзьями, я помню его ещё мальчишкой... Конечно, проникнуть к Юлии и направить её пробуждающиеся чувства в нужную ему сторону он не может; это, однако, не обескураживает молодого миротворца. При его цели (и его образе мыслей) грех прелюбодеяния – не грех; он сходится с женщиной на семь лет старше себя, бывшей кормилицей Юлии и её ближайшей наперсницей – и вскоре, благодаря этой понятливой женщине, в доме Капулетти в свою очередь рождается любовь – перед самой свадьбой с князем Парисом! Но что Меркуцио до Париса? Последний не может ему пригодиться, и наш кукловод от него отделяется – конечно, не своими руками. Собственно говоря, Меркуцио вовсе не желал князю смерти – он предпочёл бы с его стороны просто обиду и разрыв с невестой, но судьба распорядилась иначе, и он принял это как должное. И вот, покачивая тем коромыслом, которое кукольники моего детства называли вагой, он направляет двух влюблённых марионеток в объятия друг друга.

Но объятий мало – нужен брак, поначалу хотя бы тайный; и вот Меркуцио приходит ко мне, своему доброму знакомому, и объясняет мне положение. Я отвечаю, что не могу пойти на это, не предупредив детей о грозящих им опасностях брака; Меркуцио, засвистав, говорит: «Пожалуйста, отец мой: скажите им всё, что думаете, а потом обвенчайте». Так в конце концов и вышло.

Тогда же он предупредил меня, задумчиво раскачиваясь на табурете:

– Ромео слишком горяч, и главная моя цель сейчас – удержать его от какого-нибудь столкновения с будущими собственниками. Он выделил – моими стараниями – Юлию из всех остальных Капулетти, как алмаз среди кремней; теперь мне нужно доказать ему, что кремни – это тоже неплохо и, во всяком случае, представляют ту же самую породу, которая произвела на свет не только Юлию, но и его самого. Если это удастся, если он поймёт равенство Монтеки и Капулетти, наш труд можно считать завершённым, и мой любезный дядюшка, герцог, благословит эти проклятые семейства, когда они сойдутся в дружеском кругу на свадьбе.

– Ты делаешь хорошее дело, сын мой, – искренне ответил я. Меркуцио повернулся вокруг собственной ости на табуретке и озабоченно заметил:

– Естественно; но дело может повернуться и иначе. Любовь – прекрасный способ объединения врагов, однако имеются и другие – увы, здесь, кажется, больше ни один не подходит, а надо бы подстраховаться. Корыстолюбие? и те, и другие слишком уж рыцари; завидую твоим соотечественникам в Венеции, отец мой – там бы эта низменная страсть пригодилась. Страх? их ненависть сильнее любого страха: если на Верону двинутся войска короля Франциска, Монтеки и Капулетти доблестно выйдут на поле боя в полном составе, на противоположных флангах и, разбив француза, воспользуются случаем перерезать друг друга. Тщеславие? оно-то и опасно, оно-то и есть корень зла – эта их ржавая честь, не позволяющая подать друг другу руки... Остаётся одно – смерть.

– Чья смерть? – в ужасе спросил я. – Кто должен, по твоему, умереть, сын мой?

Он снова повернулся вокруг себя самого на табурете и заявил:

– А никто. Зачем умирать доблестным и достославным Монтеки и Капулетти? Но вот узнать, что вражда их может у них отнять, погубить самое дорогое... – и он, вынув из кармана склянку с сонным зельем, поведал мне свой план, который я попытался потом воплотить в жизнь – но уже без помощи Меркуцио и, увы, неудачно... Впрочем, он счёл бы это удачей.

Наконец, ещё раз описав круг на собственном седалище, он добавил уже совсем угрюмо:

– Вся сложность в другом, отец мой... Старики Монтеки и Капулетти мне безразличны – я стараюсь отнюдь не ради них, но ради отечества. Беда в том, что я всё-таки очень люблю этого лопухого обормота Ромео, я друг ему, а это сильно усложняет всё дело... Если эта дружба внезапно прорвётся в моём сердце, то наверняка в самый неподходящий момент – и тогда всё пойдёт насмарку... а может, и нет, но кончится гораздо хуже, чем мне хотелось бы. Как было бы здорово, если бы Ромео был мне чужим! А так я уже лет семь дружу с ним и учу уму-разуму; да и девочку, кстати, тоже жаль – куда им без меня? Ну да время покажет, – и он простился со мною.

Что показало время, тебе известно: Ромео сошёлся на поединке с братом Юлии, Тибальдом Капулетти; Меркуцио, не в силах смотреть на это, как равнодушный секундонт или тем более как привычный веронский обыватель, с детства наблюдающий эту бесконечную грызню, бросился разнимать их – и по оплошности Ромео шпага Тибальда вонзилась в грудь миротворца. Когда я подрос к месту трагедии, там уже лежал труп Тибальда – Ромео не сдержался, – и умирающий Меркуцио, бормочущий, кусая атласный рукав своего наимоднейшего, как всегда, дублета: «Чума на оба ваши дома», а также и некоторые иные слова, приводить которые здесь я не считаю допусти-

мым. Потом, когда я склонился к нему, чтобы выслушать исповедь и причастить умирающего Святым Дарам, он коснулся моего лица цепенеющей уже рукою и прошептал:

– А всё-таки выйдет по-моему, вот увидишь, святой отец! Я не успею сейчас исповедаться, эта проклятая шпага пропорола меня насквозь, как вертел поросёнка, но я уповаю на милосердие Господне и на слова Его: «блаженны миротворцы...» – он уронил голову в пыль и больше уже не шевелился – мёртвый кукольник рядом с мёртвой марионеткой.

Да, конечно, мёртвый, и мне очень жаль его; мне очень жаль и всего происшедшего впоследствии, увы, не без моего участия... но мне всё время кажется, что и при участии Меркуцио. Кукловод умер, но словно из-за гроба продолжал управлять вагой, и в конце концов марионетки соединились в том заключительном танце, который заканчивает любую кукольную комедию или драму – когда Арлекин, Сбир, Доктор, Коломбина и Капитан, бывшие враги и соперники, водят на сцене мирный хоровод... только вот куклы легко воскресают для этого, а люди – нет...

И вот в Вероне спокойствие, и Монтекки ходят к Капулетти на поминки, а Капулетти рассказывают Монтекки, какая у нас была замечательная девочка, и герцог Эскал, оплакав Париса и Меркуцио, а заодно обоих детей с Тибальдом, удовлетворённо устроился на своём престоле посреди умиротворённого города... Кажется, всё хорошо, если не считать могил?

Но всё же мне тревожно, Бассанио: мне всё время чудится, что я вижу нити, протянувшиеся куда-то от наших рук, ног, губ, умов и сердец; мне кажется – о Боже! – что Некто, держащий эти нити, так же бесстрастен, как стремился быть Меркуцио, иначе бы он, не совладав с собственным сердцем, затруднился бы и с пьесой – он лишён сострадания, милосердия, любви, он только направляет нас на путь греха или добродетели – и где же она, наша свобода воли, о которой сейчас идут чуть ли не вооружённые прения там, на Севере?.. Я в смятении, Бассанио, я больше не могу писать. Может быть, мне следовало остаться купцом... понимаешь, я всё время проставляю «он» с маленькой буквы, как и пристало писать о нечистом, но рука моя невольно стремится (подчиняясь, быть может, некой нити?) вывести «О» прописное... И, может быть, лучше быть чёртовой куклой, чем...

На этом письмо обрывается и выбрасывается братом Лаврентием в камин, а сам он становится на колени и начинает истово молиться, перебирая чётки и хлеща так называемой «дисциплинарной» плетью по своим узким плечам. Мы ничем не можем помочь ему; самое большее, что нам оказалось под силу – это восстановить сгоревшее послание, но мы не уверены, что это хоть сколько-нибудь утешило бы бедного монаха. А посему,

дабы не угрызаться его мукой, мы снимаем с полки том Шекспира и, постепенно успокаиваясь, перечитываем великолепный монолог Меркуцио о королеве Маб, где (гораздо короче и красивее) изложен весь его план.

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, ОКАМЕНЕВШИЙ ХОЗЯИН

*Баратория, во владениях
его светлости герцога NN,
Г-ну Санчо Панче из Ла-
Манчи, оруженосцу*

Мой дорогой Санчо!

Пользуюсь оказией передать тебе это письмо, пока ты со своим хозяином находишься при дворе герцога. Кажется, уже лет пять, как нам не удавалось встретиться – пути твоего Дон-Кихота не пересекались (по воле Провидения) с дорогами моего Дон-Хуана, а стало быть, и Санчо с Лепорелло не случилось оказаться в одном месте. Надо сказать, что я сильно скучал по тебе, особенно последние три года – почему именно три, я расскажу ниже. Мне не давало покоя, что мы с тобою расстались как-то не по-хорошему – ты гордился своим хозяином, я – своим, а оба мы понимали, что встреча их скорее всего закончится плачевно (в данном случае не по вине дон-Хуана Тенорио, так как он, следует признаться, никогда не принимал твоего всерьёз, хотя и охотно признавал столь же прекрасным романтиком в своём духе, сколь и себя самого, дон-Хуана, в своём. «Чем была бы Испания без нас двоих?» – спросил он, помнится, несколько лет назад; увы, ныне он не способен на такие слова!)

Ты думаешь – потому, что он вообще теперь неспособен разговаривать с обитателями этого мира, после того как провалился сквозь землю под каменной рукою Командора, как это показывали на театре в Севилье не далее как две недели назад? Ещё одно «увы» вынужден я присовокупить к своим сетованиям: нет, не поэтому. Дон Хуан не покинул ещё эту юдоль скорбей и не горит в геенне; но я не могу сказать и того, что дон Хуан жив.

Как наяву вижу, как ты морщишь лоб, хмуришь брови и ворчишь: «Снова этот севильский вертопрах говорит ещё более непонятно, чем мой хозяин!» Я всё объясню. И прежде всего то, что я уже давно не являюсь севильским вертопрахом – я дорого дал бы за то, чтобы вернуть это своё прошлое, я дорого дал бы даже и за твоё, Санчо, настоящее; но с романтикой, благородством, весёлостью и всем остальным мне пришлось распрощаться. Не по своей воле, видит Господь! Но это так.

Похоже, что письмо моё окажется длиннее, чем я думал: так всегда получается – кажется, что всё можно сказать в двух словах, а остальное и без того понятно, а потом видишь, что

понятно только тебе самому. (Похоже, Санчо, что я становлюсь философом.) И всё же именно поэтому я хочу ещё в начале послания сообщить тебе самое главное: немедленно предупреди своего гостеприимца, его светлость герцога NN, что на него поступил уже второй донос в Святейшую Инквизицию – он обвиняется в том, что якобы в его жилах имеется прапрадедовская капля мавританской крови, а также и в том, что собирается совершить (страшно сказать!) государственный переворот и низвергнуть благословенного нашего Монарха Дона Филиппа. Это ложь и навет, но попроси герцога приготовиться к опровержению таких измышлений.

Кто же измыслил их? Дон Хуан. Как, дон Хуан Тенорио? Не совсем – дон Хуан маркиз де Маранья, а это уже другой человек, хотя и остаётся до сей поры моим хозяином.

Не рви письмо в раздражении на эти загадки – получится, что ты зря заплатил грамотею, который читает его тебе. Я собираюсь без дальнейших околичностей поведать тебе историю куда страшнее той, что представляется на севильских подмостках.

Итак. Начало её почти совпадает с пьесой – благородный дон Хуан Тенорио, с коего только что снято отлучение от Церкви, вместе со своим верным пажом Лепорелло (я уже седею, Санчо, но всё ещё слышу пажом! Тебе легче – ты по крайней мере оруженосец и, говорят, без пяти минут губернатор... Впрочем, тогда я не печалился об этом) – дон Хуан Тенорио встречается прекрасную женщину, женщину, не походящую ни на одну из его бывших возлюбленных – то есть действительно нечто исключительное. Он посылает Лепорелло узнать, кто она; тот возвращается с сообщением, что это не кто иная как донна Анна, супруга королевского командора дона Гонзаго де Ульоа, человека исключительно честного, честолюбивого, властного, алчного и – как всегда бывает при сочетании алчности с честностью – невероятно скучного и пресного. Конечно, решили мы с хозяином, он недостоин столь прекрасной женщины; конечно, она достойна большего и лучшего, а именно – любви дона Хуана Тенорио. Хозяину в монашеской рясе удалось встретиться с нею и объяснить; эта праведная до глупости дама не нашла ничего лучшего, чем возразить: «Я замужем». Дон Хуан только присвистнул, а я начал точить его шпагу. Тебе известно, наверное, чем кончилось это для командора; дон Хуан не угодил в темницу только в силу заступничества своих знакомых (точнее, знакомиц) из самых высоких сфер – я не могу позволить себе привести здесь их имена, Санчо, да они тебе ничего и не скажут.

Прекрасная вдова носит траур, а Лепорелло – записки донна Хуана; дело идёт на лад, и мой хозяин уже с головою погружается в эту очередную любовь – ты ведь знаешь, он всегда любил совершенно искренне и горячо, только не подолгу. Наконец, с донной Анной удаётся договориться; мой хозяин со-

вершает очередное чудо обаяния, и безутешная вдова даёт согласие отужинать с ним вдвоём; Лепорелло же отлично знает, чем кончаются такие ужины, и готовится к этому, так сказать, празднику столь же увлечённо, сколь и его хозяин – дон Хуан покупает новые брабантские брыжи, а Лепорелло – лучших цесарок, каких только можно достать в Севилье, лучшее вино и т.д.

Накануне условленного дня, в сумерках, оба возвращаются домой через кладбище – дон Хуан насвистывает, а Лепорелло тащит великолепную бархатную скатерть, ради которой хозяин залез в долги ещё глубже, и тоже насвистывает – из уважения к покойным, молитву. Вероятно, на кладбище нельзя свистать даже реквием – и Провидение не замедлило с наказанием обоим нечестивцам. Мы оказались внезапно у самой могилы дона Гонзаго, перед его каменной статуей в натуральную величину, в латах, командорском шарфе, с крестом Калатравы на груди и мечом у бедра. И тут дон Хуан внезапно спрашивает меня:

– Лепорелло, какая странная встреча, не правда ли? Во мне просыпается совесть, а это чревато дурными последствиями. Я стал успокаивать его, но мой сеньор оборвал:

– Пожалуй, мы просто обязаны пригласить дона Гонзаго отужинать завтра с нами.

Я засмеялся, а дон Хуан подтолкнул меня в спину и приказал:

– Так позови же его! Боюсь, со мною он не пожелает разговаривать.

И вот тут-то я и испугался – да, Санчо, честно признаюсь тебе в этом, ибо будущее показало, что страх мой был не напрасен. Но дон Хуан уже взял из моих рук свёрнутую скатерть и повторил приказ. Я, трепеща, поклонился статуе и пробормотал приглашение. И, опять же как и показали на театре (вероятно, драматург прятался за каким-то соседним надгробием), статуя кивнула мне каменной головой – почему-то меня особенно напугало, что каменные перья на шлеме не шелохнулись, хотя это совершенно естественно. Дон Хуан при виде этой сцены слегка побледнел, но немедленно оправился от постыдной (для рыцаря, а не для паж) робости и заключил:

– Ну что ж, Лепорелло, купи завтра утром ещё пару каплунов и всего, что к ним положено. Вина не надо – сей праведный муж и при жизни капли в рот не брал. Может, и каплуны-то нужны каменные?

И мы отправились домой, а мне всю ночь снились кошмары – почти такие же, как на сцене.

Извини, что я всё время ссылаюсь на это проклятое представление – оно задело меня за живое, хотя сам дон Хуан не придавал ему ни малейшего значения и только заметил: «Какой

негодяй был этот Тенорио! И ведь его могут спутать со мною, маркизом де Маранья!» Но дальше я опишу не театральные штучки, а ужасную правду. Слушай же и трепещи, Санчо!

Ровно в восемь вечера на следующий день всё было готово для приёма гости; дон Хуан сам сопровождал её к себе домой, прикрыв лицо шляпой, а на донне Анне была, естественно, траурная вуаль. Ужин начался весело и спокойно – особенно, как ни странно, для дамы. Хозяин был очарователен, мил и шутлив, но чем ближе подходило время к полуночи, тем деланнее звучал его смех; я же читал про себя все молитвы, какие мог вспомнить, и принёс обет поставить в церкви Пресвятой Девы свечу аж за три мараведи, если всё кончится хорошо. С первым ударом полночного колокола мы услышали глухой стук на лестнице – стук каменных сапог с незвенящими шпорами. Донна Анна рассеянно замолчала, а хозяин поправил шпагу и, когда шаги приблизились к дверям, громко произнёс:

– Добро пожаловать, благородный дон! Я счастлив вашим вниманием к моему скромному приглашению!

Дверь отворилась, и каменный дон Гонзаго, точно такой же, как на кладбище, я с виду даже больше из-за низкого потолка, вошёл в комнату. Вдова немедленно упала в обморок (как и тогда, перед началом дуэли этих двух сеньоров), я укрылся за шторой и неустанно творил крестное знамение. Не могу пересказать тебе беседы дона Хуана и его гостя – я не посмел запомнить её. Под конец (а говорили они не больше пяти минут) хозяин вскочил со своего места, готовый обнажить шпагу, но Командор одним движением переломил её вместе с ножнами, а затем простёр руку и коснулся ледяным каменным перстом сердца дона Хуана. Тот рухнул замертво на пол, а гость огляделся, задержал на минуту гранитный взор на бесчувственной донне Анне, потом – если это мне не показалось! – махнул на неё рукою и вышел, затворив за собою дверь. В окно из-за своей шторы я видел, как он шагал по направлению к кладбищу, ненароком расплющив своей тяжкой стопой какую-то бродячую собаку...

Ах, Санчо, я словно вижу твою недоверчивую мину! Но клянусь всем святым – я разглядел каменного Командора отчетливее, чем однажды твой хозяин – великана, а ты – мельницу! Ты знаешь, я романтик, но лгу только при совершенной невозможности сказать правду или промолчать; что таких невозможностей было в моей жизни так много – не моя вина. Сейчас же я пишу истинную правду.

Итак, призрак удалился, а я бросился к безжизненно распостёртому на полу дону Хуану. К моему удивлению, он был жив: сердце стучало, хоть и медленнее, чем обычно, и из губ вырывалось дыхание, хотя и холодное, как зимний ветер. Я по-

пытался привести его в себя; очнувшись, дон хуан оглядел комнату и спросил:

– Где я?

Я, как мог, напомнил ему всё.

– Как это скверно! – произнёс он мрачно. – Какая сволочь, какая распутная свинья этот Хуан Тенорио! Запомни, Лепорелло, отныне ты должен называть меня только маркизом де Маранья – фамилии «Тенорио» я не желаю слышать, как не желаю иметь ничего общего с этим человеком. Дон Хуан Тенорио мёртв, он горит в аду. Маркиз де Маранья начинает новую жизнь. Тебе, кстати, тоже следует сменить имя и называться... ну, хотя бы Сганарелем.

Он бросил в камин обломки шпаги и ножен и сказал:

– Утром купишь мне новую, – а затем, обнаружив, что карман его пуст, переспросил:

– так этот мерзавец Тенорио был ко всему ещё и беден?

– В долгу как в шелку, – подтвердил я.

– Это затрудняет дело, – задумчиво произнёс дон Хуан и, бросив взгляд на донну Анну (её обморок затянулся), поинтересовался: – А кто, собственно, эта дама? Вдова дона Гонзаго?

– Да, – ответил я в недоумении.

– Вдовам пристало кончать жизнь в монастыре, – наставительно произнёс маркиз, – так и передай ей, когда придёт в себя.

Пока я хлопал глазами, он вдруг осведомился резко:

– А она богата, эта донна Анна?

– О да, – ответил я, – она единственная наследница командора.

– Тогда, пожалуй, будет справедливо, – заключил дон Хуан, – если я приму от благородного дона Гонзаго в наследство её самоё.

Да, Санчо, я сам не могу этому поверить, но дон Хуан действительно женился! Это невероятнее, чем низвержение в геенну. Более того, он немедленно занялся новым именем, уплатил все долги покойного Тенорио (как он сам выражался) и вновь представился ко двору. Он исповедался кардиналу. Он преподнёс Его Католическому Величеству Дону Филиппу меморандум о благоустройстве Севильи, с планом необходимых канализационных линий, новой живодёрней и табачной фабрикой, каковая и решила его судьбу: Король отправил дона Хуана в Вест-Индию за табаком и для наведения там порядка. Я, ещё не осознав полностью всего происшедшего, последовал за маркизом. Дон хуан купил табачную плантацию и вывел на чистую воду взяточника генерал-капитана одной из колоний. С полусотней аркебузирова он утопил в крови многотысячный туземный бунт. Одного старика из местных он убедил выдать местонахождение старого серебряного рудника, известного лишь немногим ин-

дейцам-старожилам и почитаемого священным; к тому времени, как пальцы на ногах старика обуглились, тот оставил бесполезное запирательство и указал рудник. Всё это дон Хуан подробно изложил в донесении Его Величеству по возвращении в Испанию год назад. Государь остался в высшей степени удовлетворён; особенно по душе ему пришлось глубокое благочестие моего хозяина (или лучше сказать – моего нового хозяина?), посещавшего церковь с аккуратностью, превосходящей аккуратность самого усердного священника. Недавно маркиз де Маранья был пожалован званием командора Ордена Калатравы и королевским ревизором в Севилье. Сейчас дон Хуан добивается места среди королевских грандов и членов совета – желая, чтобы двое его сыновей от донны Анны (она очень располнела, в то время как сам дон Хуан высох и покрылся загаром) остались впоследствии наследниками не только богатства и имени своего отца, но и его влияния в государстве. Потому ещё раз напоминаю тебе, Санчо: предуведоми герцога! Я доподлинно знаю, что ему уже недалеко до гибели.

Что ещё могу я сказать? Ты представляешь, как поразила меня перемена в характере хозяина. Я был хорошим слугой и пажом дону Хуану Тенорио; я совершенно не гожусь в секретари командору маркизу де Маранья. Мне скучно; мне страшно; мне постоянно грозит опасность стать – на своём уровне, конечно, – таким же, как он. Я не хочу быть праведным Сганарелем, я хочу быть прежним отчаянным Лепорелло!

Ты снова пожимаешь плечами, мой дорогой друг; ты не видишь в моём положении ничего ужасного, а может быть, даже находишь удачу. Искренне предлагаю тебе: давай поменяемся хозяевами, от этого будет лучше и нам, и им. Я уже не такой отчаянный бабник, как когда-то, и не оскверню чистоты щита твоего рыцаря. В конце концов, он тоже занимается благородным и достойным дворянина делом – как когда-то дон Хуан Тенорио «в своей сфере»; а о маркизе де Маранья у меня почему-то язык не поворачивается так сказать... Умоляю тебя, Санчо! Я так хочу остаться самим собой! Ответь мне срочно!

Твой искренний друг

ЛЕПОРЕЛЛО

(а никакой не Сганарель!!!)

Постскриптум: не забудь передать герцогу то, о чём я упомянул.

Л.

Приписка – ответ Санчо Пансы:

Я тоже хочу остаться самим собой, Лепорелло. Командоров много, а рыцарь дон-Кихот – один. Герцог выражает тебе глубокую благодарность: выражает он её обычно по вторникам, и в твоём случае размер её равен приблизительно шестидесяти

реалам. Возможно, он пожелает взять тебя на службу. А больше ничего не могу предложить – я уже даже не губернатор.

Твой друг

Санчо Панса, оруженосец

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Глубокоуважаемая мисс!

Я, Соловей-1, чиновник Второго ранга для особых поручений Службы Информации УВД Его Величества, Сына Неба, Императора Поднебесной, шлю Вам низжайшие поклоны и приветствия как произведение искусства – произведению искусства. Более того, я Ваш искренний почитатель, хотя Вы едва ли помните меня, так как в тот день, когда Небо послало мне счастье лицезреть Ваш божественный танец, подобный танцу Западной феи, в Стране Северных Варваров, я был по независящим от меня обстоятельствам глубоко законспирирован. Впоследствии я с болью в душе узнал, что Вы вынуждены были в расцвете творческих сил покинуть сцену, пострадав от руки чужеземца, ничего не понимающего в вопросах функциональности нас, произведений искусства и в то же время выдающихся достижений науки и техники. Ту же моральную трагедию, хотя и по иным причинам, пережил и я сам, так что Вы можете не сомневаться в искренности моих слов и побуждений. И всё же ныне я вынужден обратиться к Вам с покорнейшей просьбой о помощи, которую Вы и Ваши соплеменники и творцы могли бы оказать моему злосчастному другу, подателю сего, злополучному эмигранту, Соловью-2-3 (то есть Золотому). Дабы Вам не показалось, что я, ничтожный, безосновательно посягаю отнять у Вас столь драгоценное время, позвольте униженно изложить Вам нашу незамысловатую историю.

Я был создан инженерами Эдоского разведцентра для сбора и передачи информации из сопредельного моей родине Китая по распоряжению Великого Полководца Покорителя Варваров Ода Нобунага и заброшен в пределы потенциального противника. Скромное серое оперение, маскирующее искусный механизм, и свойственный мне незаурядный певческий дар позволили мне исполнять свою миссию по всей Поднебесной при искреннем одобрении и поощрении ничего не подозревающего населения. Тем не менее вскоре мне довелось столкнуться с рядом сложностей. Дело в том, что основным моим заданием было получение информации в Пекине, в императорском дворце и, по возможности, из уст первых чиновников Государства. Однако проникнуть в пределы Дворца Сына Неба оказалось весьма затруднительно: здесь невзрачная внешность, максимально приближенная к натуральной, скорее препятствовала, нежели способствовала осуществлению моей миссии, ибо челядь не допускала меня не только во Внутренние Покои, но даже в сад, по-

скольку Государь милостиво соизволил отдавать предпочтение попугаям и иным птицам, схожим с ним роскошеством убранства и облика, не будучи в ту пору ценителем принципа «прекрасно-простого». Об этом я был вынужден сообщить эмиссару сёгуна, посетившему Поднебесную под видом любознательного путешественника.

Вскоре под именем последнего вышла книга путевых записок и дневников, преподнесённая автором Сыну Неба. В книге этой с достохвальной подробностью и почтительным восхищением описывались и воспевались достопримечательности Двадцати Провинций, причём каждая глава заканчивалась фразой: «Но и здесь всё виденное и слышанное мною превзошёл Соловей!» Как и следовало ожидать, Сын Неба, ничего не слышавший обо мне, повелел своим чиновникам под страхом смерти в самые сжатые сроки разыскать упомянутую гостем его Государства диковинку, и через короткое время я был доставлен во Дворец и предстал перед его божественным Ликом. Разомкнув уста, я исполнил несколько наиболее популярных пьес из своего репертуара и снискал глубокое одобрение Государя, повелевшего немедленно поселить меня в своём покое и присвоить придворный ранг. Таковое положение позволило мне успешно отправлять часть своих обязанностей, а именно слушать и запоминать всё интересующее Ставку. Увы, боги не бывают до конца благосклонным к нам, недостойным: вторую задачу, а именно – передачу информации, выполнить оказалось значительно сложнее, ибо по воле Его Величества я был заключён в золотую клетку отменной работы, а на шею мне Сын Неба повелел повесить собственную почтенную туфлю, каковая и без клетки чрезвычайно затруднила бы мои перелёты через море. Я пел, я слушал, я мотал на ус, благо мог вместить немалый объём информации, однако до Ставки она не доходила.

Когда эти обстоятельства стали известны в Эдо, по совету господина Иэясу Токугавы был предпринят следующий шаг: инженерами разведуправления срочно был создан Соловей-2, покрытый золотом и самоцветами, и послан в дар Сыну Неба от Императора Ямато. Уступая мне талантом и надёжностью механизма, Соловей-2 безоговорочно превосходил меня в отношении дизайна, выбранного с учётом любви китайцев к роскоши, достигающей порою до безвкусицы, в чём Вы, сударыня, можете убедиться, соблаговолив взглянуть на злополучного подателя сего послания. Как и следовало ожидать, в глазах Сына Неба и его придворных он немедленно затмил меня сразу же после доставки, надзор за мною прекратился, туфля досталась моему младшему товарищу, и я получил возможность фактически беспрепятственно покинуть страну. С чувством почти выполненного долга я направился на родину и через несколько дней полёта достиг Ставки. Там я увидел Их Превосходительств Ода Нобуна-

га, Тоётоми Хидэёси и Иэясу Токугава в саду, куда они вышли рассеяться от государственных забот и послушать пение моего натурального тэски, который, однако же, не спешил порадовать их. И тогда я услышал, как Великий Полководец Покоритель Варваров молвил: «Если соловей не поёт, я его убиваю», и содрогнулся. Его Превосходительство Хидэёси ответил ему: «А я заставляю его петь», Иэясу Токугава же заключил: «А я жду», и вид у него был наиболее злоеущий из всех троих. И тут мне открылась вся мрачность ожидающей меня на родине судьбы – быть может, естественная и даже почётная для солдата, но ужасная для деятеля искусств! Какое-то время я даже колебался, не свершить ли мне харакири, но воля к жизни, заложенная в меня в разведуправлении, взяла верх, и я тихо и незамедлительно покинул пределы негостеприимного Отечества, направившись куда глаза глядят, а именно на Северо-Запад, где в своих скитаниях и удостоился высокой чести насладиться лицезрением Вашего танца. Однако северный климат оказался для меня вреден, а Ваша прискорбная судьба вселила в мой блок мышления сугубый ужас, и я счёл за лучшее вернуться в Китай, трепеща: не раскрыли ли мстительные японцы мою тайну?

В Запретный Город я прибыл в высшей степени во благо-время, ибо Государь в ту ночь терпел жестокие страдания (не утаю от Вас, что по данным японской разведки вызваны они были неумеренным употреблением опиума) и мучился тягостными видениями. К счастью, я помнил, что прежде Его Величеству в подобном положении приносило известное облегчение моё (или моего золотого двойника) пение, но завод последнего к этому времени иссяк, будучи рассчитан на значительно менее продолжительную мою отлучку. Более того, я должен честно признаться, что как в тот момент, так и до сей поры не вполне уверен, что Государь, представший предо мною, был тот же самый, которого я некогда покинул, – Вы же знаете, в Китае все китайцы (и даже сам Император – китаец), а стало быть, все на одно лицо (не то что на моей неласковой Родине). Имя мне помочь не могло, ибо, как Вам, возможно, известно, Государю положено менять его при каждом правительственном кризисе, дабы виноват в таком положении оказался не он; лично я нахожу подобный обычай весьма разумным – в самом деле, подобает ли Сыну Неба отвечать за развал Поднебесной? (Замечу к слову, что мне представляется рациональным распространение такого обычая и на западные державы, где в случае неприятностей Монарх мог бы менять по крайней мере номер).

Так или иначе, я запел, подобно чтимому Вами пророку Давиду, и звуки моего голоса, как и прежде, оказали целительное воздействие на Государя. Придя в себя, он в высшей степени милостиво приветствовал меня, немедленно зачислил на службу прежним чином, а злосчастного моего товарища хотел

немедленно предать казни за ненадобностью, так что лишь с великим трудом мне удалось убедить его не делать столь опрометчивого шага. Осмелился я возразить и против использования меня самого по прежнему образцу – опасаясь, как Вы понимаете, длинной руки Эдо. С великодушного дозволения Сына Неба, ныне я воспеваю его в приватном порядке, в свободное же от этого сладостного, но однообразного занятия время посещаю различные уголки Поднебесной, собирая информацию для Его Величества об умонастроениях его почтительных и преданных подданных.

Как Вы понимаете, сударыня, в подобной ситуации Ваш покорный слуга никак не мог предложить своему блистательному, но онемевшему двойнику обратиться за помощью и починкой к его (и моим) создателям. Посему нижайше прошу Вас оказать нашему золотому собрату протекцию в Британии и походатайствовать за него перед высокоучёными инженерами и механиками при восхитительной Вашей Кунсткамере. В случае неудачи, которая, разумеется, нимало не должна омрачить настроение Вашего высокого духа, нам придётся обратиться с этой просьбой к северным умельцам – а Вам более, нежели кому-либо, известно, чем это чревато: если Соловью-2 и не особенно повредят подковки, подобные Вашим, то его могут обучить там необходимым бытовым выражениям, противоречащим нравственности и почитанию родителей, завещанному древними.

В качестве гонорара Британская Кунсткамера может оставить себе самого подателя настоящего письма. Все мы в той или иной мере – граждане Вселенной, ибо Святое Искусство неизменно стоит на первом месте по значимости как для своих деятелей, так и для своих произведений!

Да пошлёт Вам Небо тысячи-тысячи лет благоденствия и процветания!

Засим кончаю и остаюсь преданнейшим и покорнейшим слугою Вашей милости

СОЛОВЕЙ-1, чин. II р. Для ОП СИ УВД Его Величества

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

*Ближайшая почтовая контора,
Агасферу, до востребования*

Любезный друг!

Должен сказать, что ты на редкость неудобный корреспондент. Чрезвычайно трудно рассчитать, куда адресовать тебе письма. Это напоминает стрельбу по движущейся мишени, чего я, как ты знаешь, не люблю. Будучи вообще мирным человеком и заботясь (как ты знаешь, небезуспешно) о своем здоровье, я избегаю как стрельбы, так и других видов волнений. Конечно, я сам виноват, что изобрел порох (хотя это вышло случайно, я искал философский камень), но вот уже почти двести лет я не принимаю участия ни в каких военных действиях держав Европы и Азии и целиком поглощен изготовлением бриллиантов и изучением ностратических корней. Кстати, в этой области я сделал несколько значительных открытий – это благодаря многовековой разговорной практике на нескольких сотнях языков и диалектов.

Ты можешь, впрочем, и сам упрекнуть меня за неаккуратность в ответах. Но, во-первых, тебя почти невозможно поймать (т.е. вычислить место твоего пребывания), а во-вторых, хотя я путешествую гораздо меньше тебя, однако же ты умудряешься присылать мне письма с неизменным опозданием. В России, откуда я уехал в некоторой растерянности еще в семидесятих годах того столетия (ибо реформы Иоанна Грозного, при всей их неоригинальности, оказались слишком непредсказуемы), письмо твое получили уже при поляках. К счастью, в России так мало грамотных людей, что твой посланец не пострадал. Следующее твое письмо ныне находится в стокгольмской кунсткамере, так как королева Кристина, у которой я опять-таки незадолго перед его приходом занимался поощрением изящных искусств под именем графа Шёнинга, отлично разбиралась в древнееврейском. И это несмотря на твой почерк! Винить тебя, конечно, трудно, однако за полторы тысячи лет ты мог бы натренироваться и на ходу писать поразборчивее.

Грустно говорить о хороших людях в прошедшем времени. Давным-давно казнен мой друг Джафар Бармакид, которого я не сумел уберечь от нелепейшей гибели, почила в Бозе Кристина Шведская, несколько других славных людей угодили на гильотину... Но, находясь в мировой истории на нелегальном положении, я в свое время поклялся минимально вмешиваться в

ее ход. Я знаю твой озлобленный характер, дорогой Лакедем (мне привычнее обращаться по-французски, вот уже многие годы я и сам пребываю под именем Сен-Жермена, да и вообще это весьма красивый язык, уступающий разве что зендскому), но все же и ты не можешь не признать, что за время твоих странствий многое в мире изменилось к лучшему. Даже эти смуты во Франции, когда я подвергся страшной опасности из-за своего титула, явно послужили людям на пользу. Скоро мне придется перестать зваться графом и именоваться просто коммерции советник такой-то или доктор имярек, – как один мой коллега, предпочитающий быть веймарским министром. В сущности, не все ли равно, какое выдумать себе имя? Порою мне кажется, что выдуманно не оно, а я сам, или весь мир вокруг меня, или и то, и другое, и третье.

Но вот уже много лет я не получаю от тебя вестей. Из десятых рук до меня доходит, что некий Карталеус был замечен в Венгрии, некий Исаак Лакедем давал здравые советы по восстановлению финансов какому-то саксонскому князьку, а некий Агасфер даже (представь себе!) погиб при восстании в Хэнани против маньчжуров. Кстати, я явно недостаточно времени провел в Китае, и если тебе удастся хоть что-нибудь узнать о Золотой Киновари даосов, будь любезен, сообщи мне: любопытно, совпадает ли ее рецепт с моим составом философского камня. Впрочем, по слухам, это снадобье обращает кирпичи в золото лишь на какие-то три тысячи лет, и даже один даосский мудрец заметил, что ради этого не стоит трудиться; но в большинстве они настолько несокрушимо самодовольны, что иногда я думаю, будто им и впрямь известен способ приготовления этого средства.

Обо мне ты, вероятно, слышал столь же отрывочные сведения; что еще к ним добавить? В Париже я познакомился с довольно приятным итальянцем по имени Казанова; по старой своей привычке я заронил в его душу семена сомнения, и этот авантюрист сделался библиотекарем – это очищает душу и засоряет голову, но зато дало возможность развернуться его несомненному литературному дарованию. Там же я имел в высшей степени приятное знакомство с одной русской красавицей, заплатив за это всего лишь одной отнюдь не универсальной формулой теории игр. Быть может, тебя заинтересуют мои беседы с Наполеоном Бонапартом, но я намерен выпустить их отдельной книжкой со многими политипажами, как только их здесь изобретут, – это тебе будет интереснее. Один его офицер, впрочем, заинтересовал меня; его фамилия Бейль, он талантлив, но слишком горд, чтобы подражать мне в чем-либо; я готов был подарить ему если не бессмертие, то хотя бы долговечность, но он вместо этого попросил пересказать ему старые итальянские

сплетни и придумать хороший псевдоним. Я многого ожидаю от него.

Но вообще, друг мой, со мною происходит что-то неладное: может быть, хоть и страшно признаться, я старею. Будучи на шестьсот с лишним лет тебя моложе, я вовсе не хочу умирать; более того, я не скрою, что боюсь смерти. Ведь и тебя, Лакедем, по правде говоря, угнетает вовсе не долголетие, а твой беспорядочный образ жизни и, главное, то, что твое бессмертие дано тебе в наказание, + так ты на него и смотришь. Я же достиг долголетия собственными силами, это моя цель, но не самоцель: я все же ученый, и по нынешним временам один из крупнейших. В отличие от пресловутого Фауста я никогда не гонялся за наслаждениями, не пытался похищать ни Елену Спартанскую, ни королеву Элинор, ни мадам де Помпадур, всегда был умерен в пище, не пью, не курю табака и даже, по мере сил, борюсь с его распространением. Мне нужно очень многое успеть, друг Лакедем, на свете столько интересного!

Мою волю к жизни подстегивает и то, что, в отличие от тебя, я не неуязвим, любая шальная пуля или пьяный мужик могут оборвать мою жизнь, а мне необходимо, совершенно необходимо узнать, делим ли атом! Может быть, после этого жизнь мне уже станет в тягость; может быть, мои открытия окажутся еще ужаснее, чем те, когда меня звали Бертольд Шварц; но любопытство – лучшее мое качество, любопытство и умеренность. А если со мною что-нибудь случится... там не будет ничего интересного, и все будет непомерно. Кстати, я никогда не задумывался: попаду я в ад или в рай? Опять же, моя умеренность склоняет меня к чистилищу; но, чем дольше я живу, тем глубже вкрадывается мне в душу подозрение, что ТАМ нет ни рая, ни ада, ничего... Я не хочу умирать, я еще так молод!

Но, может статься, прав был мой знакомый Кальдерон, а до него Ли Гун-цзо и многие другие, и жизнь есть сон? Они утверждали, что это – сон каждого человека; я склонен думать, что это сновидение Кого-то другого. Этот Кто-то творит миры во сне (ибо сны всегда бессмысленны), а мы, по образу и подобию его, творим их в своих грезах. Каждый поэт способен придумать Харуна, Самсона или Сен-Жермена, и любой ученый в два счета докажет их нереальность. Но сумеет ли он доказать столь же легко собственную реальность? Сейчас Агасфер – миф, а Бонапарт – реальность; нет сомнений, что через несколько столетий мифом станет и Бонапарт. Его счастье, что он не задумывался об этом: он просто творил свой мир, не утруждая души сомнениями в собственном существовании.

Пиши мне обо всем, что узнаешь нового. Мне всегда был нужен кто-то способный понять меня, хотя бы неправильно. До встречи!

Твой друг - ну, хотя бы СЕН-ЖЕРМЕН

3 декабря 1816 года от известной тебе даты

P.S. Увы! Только сегодня, с большим опозданием, мне попало в руки длиннейшее стихотворение господина Г.Х. Шубарта, в котором говорится, что «не вечен Божий гнев», и ты умер. Я не ожидал, что переживу тебя, и это меня не радует. Это письмо не будет отправлено: оно будет странствовать со мною и повторять мне: «Memento mori, таинственный граф!»

С.-Ж.

P.P.S. И все же: а если Спящий проснется?..